

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ ВАЙНЕРЫ

Место встречи
изменить нельзя



Аркадий Александрович Вайнер
Георгий Александрович Вайнер

Место встречи изменить нельзя

Серия «Азбука Premium.

Русская проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66318564

*Место встречи изменить нельзя: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2021
ISBN 978-5-389-20030-2*

Аннотация

Бестселлер классиков российской литературы – детектив братьев Вайнеров об оперативных сотрудниках Московского уголовного розыска (МУРа) и их борьбе с преступниками – в особом представлении не нуждается. Эта легендарная книга (1975) стала событием в литературной жизни страны, покорила миллионы читателей, а снятый по ней телефильм (1979) обрел всенародную любовь многих поколений зрителей.

Успех был обеспечен не только прекрасным актерским составом и талантливой режиссурой, но и великолепной литературной основой. Динамичный сюжет, правдиво переданная атмосфера послевоенной Москвы и колоритные персонажи, реплики которых пополнили словари крылатых выражений... Как говорил о романе Владимир Высоцкий, забываемо

воплотивший на экране образ капитана Жеглова, это не просто детектив, а настоящая литература со своей драматургией: «Там две психологии сталкиваются – любопытно, и оторваться нельзя».

Тема этического противостояния Жеглова и Шарапова, таких непохожих друг на друга напарников-соперников, актуальна и сегодня. А вечная мечта человечества – Эра Милосердия, которой посвящен роман, по-прежнему волнует читателей во всем мире.

Аркадий и Георгий Вайнеры Место встречи изменить нельзя

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1975

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

* * *

В учреждения и на предприятия требуются: старшие бухгалтеры, инженеры и техники-строители, инженеры-механики, инженеры по автоделу, автослесари, шоферы, грузчики, экспедиторы, секретари-машинистки, плановики, десятники-строители, строительные рабочие всех квалификаций...

Объявление

– А ты пока сиди, слушай, набирайся опыта, – сказал Глеб Жеглов и сразу позабыл обо мне; и чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я отодвинулся к стене, украшенной старым выгоревшим плакатом: «Наркомвнуделец! Экономя электричество, ты помогаешь фронту!»

Фронта давно уже не было, но электричество приходилось экономить все равно – лампочка и сейчас горела вполнакала. Серый сентябрьский день незаметно перетекал в тусклый мокрый вечер, желтая груша стосвечовки дымным пятном отсвечивала в сизой измороси оконного стекла. В кабинете было холодно: из-под верхней овальной фрамуги, все еще заклеенной крест-накрест белыми полосками, поддувало пронзительным едким холодком.

Я не обижался, что они разговаривают так, словно на моем венском стуле с нелепыми рахитичными ножками сидит манекен, а не Шарапов – их новый сотрудник и товарищ. Я понимал, что здесь не просто уголовный розыск, а самое пекло его – отдел борьбы с бандитизмом и в этом милом учреждении некому, да и некогда заниматься со мной розыскным ликбезом. Но в душе оседала досадливая горечь и неловкость от самой ситуации, в которой мне была отведена роль школяра, пропустившего весь учебный год и теперь бестолково и непонятливо хлопающего ушами, тогда как мои прилежные и трудолюбивые товарищи уже приступили к решению задач повышенной сложности. И от этого я бессознательно контролировал все их слова и предложения, пытаюсь найти хоть малейшую неувязку в рассуждениях и опрометчивость в выводах. Но не мог: детали операции, которую они сейчас так увлеченно обсуждали, мне были неизвестны, спрашивать я не хотел, и только из отдельных фраз, реплик, вопросов и ответов вырисовывался смысл задачи под назва-

нием «внедрение в банду».

Вор Сенька Тузик, которого Жеглов не то припугнул, не то уговорил – этого я не понял, – но во всяком случае этот вор пообещался вывести на банду «Черная кошка». Он согласился передать бандитам, что фартовый человек ищет настоящих воров в законе, чтобы вместе сварганить миллионное дело. Для внедрения в банду был специально вызван оперативник из Ярославля: чтобы ни один человек даже случайно не мог опознать его в Москве. А сегодня утром позвонил Тузик и сказал, что фартового человека будут ждать в девять вечера на Цветном бульваре, третья скамейка слева от входа со стороны Центрального рынка.

Оперативник Векшин, который должен был сыграть фартового человека, мне не понравился. У него были прямые соломенные волосы, круглые птичьи глаза и голубая наколка на правой руке: «Вася». Он изо всех сил старался показать, что предстоящая встреча его нисколько не волнует, и бандитов он совсем не боится, и что у себя в Ярославле он и не такие дела проворачивал. Поэтому он все время шутил, старался вставить в разговор какие-то анекдотики, сам же первый им смеялся и, выбрав именно меня – как новенького и безусловно еще менее опытного, чем он сам, – спросил:

– А ты по фене ботаешь?

А я командовал штрафной ротой и повидал таких уркаганов, какие Векшину, наверное, и не снились, и потому свободно владел блатным жаргоном, но сейчас говорить об этом

было неуместно – вроде самохвальства, – и я промолчал, а Векшин коротко всохотнул и сказал Жеглову:

– Вы не сомневайтесь, товарищ капитан! – И мне послышался в его мальчишеском голосе звенящий истеричный накат. – Все сделаю в лучшем виде! Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки!

От долгой неподвижности затекла нога, я переменял позу, венский стул подо мной пронзительно закрипел, и все посмотрели на меня. Но поскольку я сидел, по-прежнему каменно молча, то все снова повернулись к Векшину, и Жеглов, рубя ладонью стол, сказал:

– Ты запомни, Векшин: никакой самостоятельности от тебя не требуется: не вздумай лепить горбатого – изображать вора в законе. Твоя задача проста, ты человек маленький, лопушок, шестерка на побегушках. Тебя, мол, отрядили выяснить – есть ли с кем разговаривать? Коли они согласны брать сберкассу, где работает твоя баба-подводчица, то придет с ними разговаривать пахан. Ищите связи потому, что вас, мол, мало и в наличии только один ствол...

– А если они спросят, почему сразу не пришел пахан? – Круглые сорочьи глаза Васи Векшина горели, и он все время потирал одна о другую красные детские ладони, вылезавшие вместе с тонкими запястьями далеко из рукавов мышинного кургузого пиджачка.

– Скажешь, что пахан их не глупее, чтобы соваться как кур в ошип: откуда вам знать, что с ними не придет уголовка? А

сам ты, мол, розыска не боишься, поскольку на тебе ничего особого нету и про дело предстоящее при всем желании рассказать никому ничего не можешь – сам пока не в курсе...

Лицо у Жеглова было сердитое и грустное одновременно, и мне казалось, что он тоже не уверен в парнишке. И неожиданно мне пришла мысль предложить себя вместо Векшина. Конечно, я первый день в МУРе, но, наверное, уж все, что этот мальчишка может сделать, я тоже сумею. В конце концов, даже если я провалюсь с этим заданием и бандит, вышедший на связь, меня расшифрует, то я смогу его, попросту говоря, скрутить и живьем доставить на Петровку, 38. Ведь это тоже будет совсем неплохо! Перетаскав за четыре года войны порядочно «языков» через линию фронта, я точно знал, как много может рассказать захваченный врасплох человек. В том, что его, этого захваченного мною бандита, удастся «разговорить» в МУРе, я совершенно не сомневался. Поэтому вся затея, где главная роль отводилась этому желторотому сосунку Векшину, казалась мне ненадежной. Да и нецелесообразной.

Я снова качнулся на стуле (он пронзительно взвизгнул – дурацкий стульчик, на гнутой спинке которого висела круглая жестяная бирка, похожая на медаль) и сказал, слегка откашлявшись:

– А может, есть смысл захватить этого бандита и потолковать с ним всерьез здесь?

Все оглянулись на меня, мгновение в кабинете стыла

недоуменная тишина, расколовшаяся затем оглушительным хохотом. Заходился тонким фальцетом Векшин, мягко похатывал баритончиком Жеглов, лениво раздвигая заветренные губы, сбрасывал ломти солидного сержантского смеха Иван Пасюк, вытирал под толстыми стеклами очков выступившие от веселья слезы фотограф Гриша...

Я не спеша переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановился на Жеглове; и тот резко оборвал смех, и все остальные замолчали, будто он беззвучно скомандовал: «Смирно!» Только Векшин не смог совладать с мальчишеской своей смешливостью и хихикнул еще пару раз на разгоне...

Жеглов положил руку мне на плечо и сказал:

– У нас здесь, друг ситный, не фронт! Нам «языки» без надобности...

И я удивился, как Жеглов точно угадал мою мысль. Конечно, лучше всего было бы промолчать и дать им возможность забыть о моем предложении, которое, судя по реакции, показалось им всем вопиющей глупостью, или нелепостью, или неграмотностью. Но я уже завелся, а заводясь, я не впадаю в горячее возбуждение, а становлюсь упорным, как танк. Потому и спросил, спокойно и негромко:

– А почему же вам «языки» без надобности?

Жеглов повертел папироску в руках, подул в нее со свистом, пожал плечами:

– Потому что на фронте закон простой: «язык», которого

ты приволок, – противник, и вопрос с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь, только тогда можешь называть врагом, когда докажешь, что он совершил преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше...

– Как это «пошлет»? Он на то и «язык», чтобы рассказывать, чего спрашивают. А доказать потом можно, – убежденно сказал я.

Жеглов прикурил папироску, выпустил струю дыма, спросил без нажима:

– На фронте, если «язык» молчит, что с ним делают?

– Как что? – удивился я. – Поступают с ним, как говорится, по законам военного времени.

– Вот именно, – согласился Жеглов. – А почему? Потому что он солдат или офицер вражеской армии, воюет с тобой с оружием в руках, и вина его не требует доказательств...

– А бандит без оружия, что ли? – упирался я.

– На встречу вполне может прийти без оружия.

– И что?

– А то. В паспорте у него не написано, что он бандит. Наоборот даже – написано, что он гражданин. Прописка по какому-нибудь там Кривоколенному, пять. Возьми-ка его за рупь двадцать!

– Если всерьез говорить, то крупный преступник сейчас много хуже фашиста, – сказал, вращая круглыми желто-медовыми бусинками глаз, Векшин. – Вот с этим самым паспортом он грабит и убивает *своих*! Хуже фашистов они! –

повторил он для убедительности.

«Много ты про фашистов знаешь!» – подумал я, но говорить ничего не стал, поняв уже, что сделал глупость, вступив в спор: теперь уже не осталось никаких шансов – после того как я проявил такую неграмотность, – что меня могут послать вместо Векшина на встречу с бандитами.

И совещание скоро закончилось. Время тянулось невыносимо медленно. Жеглов дал мне талон на обед, и все сходили в столовую на первом этаже, кроме Векшина, который на всякий случай из жегловского кабинета не выходил, и ему принесли полбуханки хлеба и банку тушенки, и он все это очень быстро уписал, запивая водой из графина и облизывая худые пальцы в заусеницах. Рядом с неровными буквами «Вася» на руке у него была россыпь цыпок, и, глядя на них, я почему-то вспомнил мальчишескую примету, будто цыпки вырастают, если в руки берешь лягушек. «Пацан еще, – подумал я снисходительно, уже простив Векшина за его высокомерные наскоки. – Совсем пацан».

Тогда я еще не знал, что на счету у «пацана» значились не только три десятка изловленных воришек, но и грабительская шайка Яши Нудного, повязанная благодаря исключительному умению Векшина влезть в душу уголовника.

– У тебя оружие с собой? – спросил его Жеглов.

– А как же! – Векшин приподнял полу своего люстринового пиджачишка и похлопал ладонью по кобуре револьвера. – Я без него никуда.

Жеглов ухмыльнулся:

– Надо будет его оставить. Он тебе там ни к чему...

– Неужели нет?.. – ответно ухмыльнулся Векшин и отстегнул кобуру.

Тягуче сочилось время, капали ленивые минуты, и, если бы позеленевший медный маятник не качался монотонно в длинной коробке стенных часов, можно было бы подумать, что они остановились навсегда. Дождь дудел в окно, как в сломанную губную гармошку, невыносимо однообразно: «Бу-бу-бу», пугающе-яростно прокричала на улице «скорая помощь», шаркали и неровно топотали в коридоре тяжелые шаги, и в половине девятого, когда Жеглов, встав, сказал: «Всё, пошли!» – все вскочили, шумно завозились, натягивая плащи и кепки, затолпились на миг перед дверью. Жеглов щелкнул выключателем, и желтую слабую колбочку лампы словно раздавила прыгнувшая из углов тьма, и в этой чернильной мгле невидимая тарелка радиодинамика прошелестела своим картонным горлом нам вслед: «Московское время – двадцать часов тридцать минут. Передаем романсы и арии из опер в исполнении заслуженной артистки РСФСР Пантофель-Нечецкой...»

В Колобовском переулке Векшин ушел вперед, а мы шли за ним метрах в ста, потом и мы растянулись; и, когда Вася занял скамейку на Цветном бульваре, третью слева от входа со стороны Центрального рынка, одиноко стоявшую в просвете между кустами, далеко видную со всех сторон, мы с

Жегловым пристроились у закрытой москательной лавочки, за будкой чистильщика, заколоченной толстой доской.

Отсюда нам был виден тщедушный силуэт Векшина, сгорбившегося на скамейке под холодным морозящим сентябрьским дождиком. Гость, которого все ждали, появиться незаметно не мог, да и уйти незаметно ему не предвиделось. Прохожих почти совсем не стало на улице. Подсвеченный изнутри синими лампами, проехал трамвай. Я взглянул на свои трофейные часы со светящимся циферблатом и шепнул Жеглову:

– Четверть десятого...

Жеглов сильно сжал мне руку, и я увидел, что рядом с Векшиным остановился высокий мужчина, постоял немного и уселся рядом. Я никак не мог сообразить, откуда тот взялся: все подходы просматривались, и он не мог подойти незамеченным. Я взглянул на Жеглова, и тот шепнул совсем тихо, будто бандит мог его услышать отсюда:

– С трамвая на ходу прыгнул...

Не мог потом я вспомнить, сколько прошло времени, ибо в эти не очень долгие минуты все кипело во мне от досады и возмущения: вот он сидит, бандит, в ста шагах, протяни руку – и можно взять за шиворот, а надо сидеть почему-то здесь, за будкой, затаившись, говорить шепотом, изнемогая от нетерпения узнать, как с ним договорится Векшин.

От Трубной площади со звоном и скрежетом приближался трамвай, и я подумал, что, когда вагоны поедут мимо нас,

на какой-то миг мы потеряем из виду Векшина с бандитом. Но бандит вдруг встал, похлопал Васю по плечу, и мне показалось, будто он пожал Векшину руку, потом повернулся, перепрыгнул через железную ограду бульвара и, пробежав несколько шагов рядом с грохочущим и дребезжащим вагоном, ловко прыгнул на подножку. Красные хвостовые огни уносились к Самотеке, а Вася спокойно сидел на скамейке.

Прошло пять минут, а Векшин почему-то не хотел уходить оттуда. Жеглов протяжно и тоненько свистнул, но Вася и головы не повернул...

– Может, они договорились, что еще кто-нибудь подойдет? – предположил я.

Жеглов только пожал плечами.

Прошло еще десять минут, мы поднялись и медленно пошли в сторону Векшина, по-прежнему сидевшего спокойно и неподвижно. Когда мы подошли к нему вплотную, то я, перевидав на войне много всякого, сразу понял, что Вася мертв. Он смотрел на нас широко открытыми круглыми глазами, на реснице повисла слезка, маленькая, прозрачная, и тонкая струйка крови сочилась из угла рта. Длинный нож-«заточка» вошел прямо в сердце, он пробил насквозь все его худенькое мальчишеское тельце и воткнулся в деревянную спинку скамейки; и потому Вася сидел прямо, как примерный ученик на уроке, и сразу стал он такой маленький, беззащитный и непоправимо, навсегда обиженный, что у меня мороз прошел по коже.

– Расколоти его бандит проклятый! – глухо сказал Жеглов.
– Это нам за него надо головы расколоть, – сказал я и, повернувшись к онемевшему Пасюку, велел: – Вызывай «скорую».

* * *

Юридический факультет Московского ордена Ленина государственного университета им. Ломоносова объявляет, что 10 октября 1945 года в 18 часов на заседании Ученого совета состоится публичная защита диссертации Евсиковым Х. П. на тему: «Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Объявление

Вернулись на Петровку мы около полуночи, и Жеглов сразу отправился по начальству. Расселись в кабинете так же, как три с половиной часа назад: Пасюк – в углу на продавленном пыльном кресле, Коля Тараскин – на мрачно блестящем дерматиновом диване с откидными валиками, фотограф Гриша – на подоконнике, откуда все время дуло, фотограф чихал, но с подоконника почему-то слезать не хотел, а я – на своем венском стульчике с медалью ХОЗУ.

Только Васи Векшина не было. И хотя стул Жеглова за обшарпанным канцелярским столом тоже пустовал, но по раз-

брошюваным бумажкам, сдвинутым чернильницам, открытым папкам было ясно, что хозяин куда-то выскочил на минуту и скоро явится на свое место. А Векшин пробыл здесь слишком мало, чтобы оставить хоть какой-то, пускай самый маленький, следок в этом и так безликом служебном помещении. И от этого казалось, будто он и не приходил сюда и не было подготовки к операции и спора насчет взятия «языков», не смеялся он здесь тонким мальчишеским голосом. Но на окне еще стояла банка из-под американской тушенки, которую Векшин ел несколько часов назад, облизывая худые пальцы в цыпках. И за бронированной дверцей сейфа лежала его кобура с револьвером.

Я сидел, прикрыв ладонью глаза, и меня не покидало воспоминание, как носилки с уже застывающим Васиным телом вкатили в «скорую помощь», люк машины, белый, с толстым красным крестом, захлопнулся с глухим лязгом, будто проглотил свою добычу, и ЗИС, жадно урча, помчался прочь, обдав нас сладким дымком непрогоревшего бензина.

Место преступления не фотографировали, не описывали, ничего не измеряли и протокола не составляли, а в моем представлении это были основные действия уголовного розыска, и потому, что ими сейчас пренебрегли, в меня снова вошло это ощущение войны, где не было места никаким формальностям и процедурам.

Я медленно думал о том, что Вася Векшин погиб как на фронте, и то, что не стал Жеглов на Цветном бульваре

под ночным противным дождем разворачивать уголовное представление с протоколом, осмотрами, фотографированием сбоку, сверху, крупным планом, в глубине души считал правильным. Обязательно собралась бы толпа зевак, и тогда, казалось мне, смерть Васи была бы чем-то унижена, словно он не разведчик, погибший в бою, а какой-то беззащитный прохожий, несчастный потерпевший, а мы сами – Жеглов, Пасюк, Тараскин и остальные, – суемся около Васиного тела на глазах прохожих, казались бы им необычайно сильными, смелыми муровцами, которые уж наверняка не попали бы под нож бандита, а наоборот, бесстрашно ловят его, в то время как этот бедолага не смог защититься.

Я ушел на фронт мальчишкой и весь свой жизненный опыт приобрел на войне. И наверное, поэтому смотрел на мир глазами человека, у которого в руках всегда есть оружие; и от этого безоружные мирные люди невольно казались мне слабыми и всегда нуждающимися в защите. И Вася Векшин, который сознательно хотел сделать беззащитность своим оружием, не должен был, с моей точки зрения, становиться поводом для сочувственных или испуганных вздохов толпы случайных прохожих, а поскольку нельзя было этим людям крикнуть, что он умер, приняв в себя нож, который, в сущности, был направлен в них всех, то надлежало, забрав тело товарища, уйти, чтобы без лишних слов, клятв и обещаний сделать все нужное, что на войне полагается, дабы воздать достойно за все...

В общем, так оно и получилось. Только когда приехала карета «скорой помощи», Жеглов отодвинул на один шаг молодую врачиху в накинутаой на плечи шинели, бормотнул быстро: «Одну минуточку, доктор», снял с себя шарфик, очень осторожно обернул им ручку ножа и резко выдернул его из раны. Врачиха с оторопью посмотрела на него, а Жеглов протянул Пасюку завернутый в шарф нож и сказал:

– Держи аккуратно, Иван, на ручке, может быть, «пальцы» остались...

А сейчас Жеглов ходил по начальству докладывать о провале операции. И хотя я никого из начальников на Петровке не знал, но легко представлял себе, каково сейчас достается Жеглову...

Текли минуты, часы. Коля Тараскин задремал на диване, и сны ему снились, наверное, неприятные, потому что он еле слышно постанывал, тоненько и протяжно: «Ой-ой-ой...» Пасюк расстелил на столе газету и, разобрав свой ТТ, смазывал каждую детальку. Гриша невесело насвистывал что-то. Я выпрямился на стуле, спросил у Пасюка:

– А что это за банда такая – «Черная кошка» эта самая?

Пасюк поднял на меня прозрачные серые глаза, пошевелил бровями, сказал медленно:

– Банда. – Помолчал, добавил: – Банда – вона и есть банда. Убийцы та грабители. Сволочь отпетое. Поймаем, бог даст, уси под «вышака» пойдуть. Тебе вон Шесть-на-девять пусть лучше расскажет, он говорун у нас наиглавный...

Фотограф, видимо, уже привык к своему необычному прозвищу, или мнение Пасюка его мало волновало, или желание рассказать было в нем сильно, но, во всяком случае, Пасюку он ничего не ответил, только рукой махнул на него и протянул презрительно:

– Ба-а-нда – она и есть ба-а-нда! Она ни на одну другую банду не похожа, потому нам и поручено ее разрабатывать...

– Особо тебе, – разлепил в усмешке заветренные узкие губы Пасюк. – На тебя сейчас уся надежда...

А фотограф сказал мне:

– Банду эту второй год ищут, а выйти на след не удастся. Был бы я Лев Шейнин – обязательно об этом деле книгу бы написал!

– А о чем же писать, коли следов никаких нет? – поинтересовался я.

– Нет, так будут! – уверенно сказал Шесть-на-девять. – Хотя, конечно, увертливые они, гады. Грабят зажиточные квартиры, продовольственные магазины, склады, людей стреляют почем зря. И где побывали, или углем кошка нарисована, или котенка живого подбрасывают.

– А зачем? – удивился я.

– Для бандитского форсу – это они вроде бы смеются над нами, почерк свой показывают...

Распахнулась дверь, вошел Жеглов, мы все повернулись к нему, и он сказал:

– Значитца, так: ты, Пасюк, завтра с утра поедешь с телом

Векшина в Ярославль, от нас всех проводишь его в последний путь, мать его постарайся успокоить. Хотя какое, к чертям собачьим, тут придумаешь успокоение!

Лицо у него было черное, подсохшее, будто опаленное, и камнями ходили желваки на скулах.

Пасюк вытер жирные от ружейного масла пальцы о лоскут газеты, аккуратно свернул его и бросил в корзину, встал, коротко сказал:

– Есть, будет сделано...

– Вы, Тараскин и Шарапов, со мной завтра дежурите в группе по городу.

– А я? – обиженно спросил Гриша Шесть-на-девять. – А я что буду делать?

– Ну и ты с нами, конечно, куда ж тебя девать? Всем спать, немедленно.

* * *

Сон был неплотен и зыбок, как рассветный туман, и, лишь на мгновение, кажется, прикрыв глаза, я испуганно вскочил на кровати – показалось, что я проспал. В комнате темно и очень холодно, и мне жаль было вылезать из нагретой за ночь постели. Я вытащил из-под одеяла руку и посмотрел на мерцающий зеленым светом циферблат: стрелки плотно слиплись на половине седьмого. Я досадливо крякнул – пропало полчаса сна; и я подумал о том, что утрачиваю фронтовую

привычку спать до упора, используя каждую свободную минуту, возмещая вчерашний недосып и стараясь хоть миг вырвать у завтрашнего.

Со стула рядом с кроватью взял папиросу «Норд», чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Ничего нет слаще этой первой утренней затяжки, когда горячий, сухой дым ползет в легкие, заливая голову мягкой одурью, и тело наполняется радостным ощущением бездельного блаженства, когда точно знаешь, что у тебя есть несколько свободных от беготни, суеты и забот минут, отданных всецело пустому глядению в потолок и удовольствию от горьковато-нежного табачного вкуса.

Окно комнаты выходило на перекресток у Сретенских ворот, и когда машины на улице, сдержанно урча, сворачивали с бульвара на Дзержинку, свет их фар белыми плотными столбами таранил стекло и, ворвавшись в комнату, упирался в стену, на одно мгновение замирал, словно в раздумье, куда ему дальше деваться, и затем стремительно прыгал на потолок яркими сплошными пятнами, прочерчивал его наискось и прятался в углу за карнизом, будто там была дырка, через которую он навсегда исчезал из комнаты.

Я лежал, глазел на прыгающие со стены на потолок пятна голубоватого света, курил папироску и думал о том, что в МУРе мне, наверное, придется нелегко. Чуть больше суток минуло с того момента, как я вошел в желтый трехэтажный особняк Управления милиции, предъявил в подъезде про-

пуск, поднялся на второй этаж, разыскал комнату номер 64 и постучал в дверь.

– Открыто! – крикнули тонким голосом из кабинета.

Я вошел и представился по-уставному:

– Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл!

Хозяин кабинета, по-видимому тот самый знаменитый старший оперуполномоченный Глеб Жеглов, начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом, к которому меня направили для стажировки, сидел за письменным столом, заваленным папками и исписанными на машинке листами. Меня удивило, что у знаменитого сыщика такой невзрачный вид: был он очень тощ, очень длинен и очень сильные очки в роговой оправе сидели косо на хрящева-той переносице. И наверное, от сознания физической своей немогности держался он очень важно. Смотрел поверх меня, откидывая голову и задирая высоко подбородок, и хотя происходило это, скорее всего, от недостатка зрения, вид у него при всей его нескладности все равно был крайне высокомерный.

– Ну здравствуй, Шарапов! – сказал он наконец. – Из кадров о тебе уже звонили. В общем, мы таким тебя и представляли...

Я не понял, кто это «мы», но отчего-то мне стало неловко, и я ответил, пожав плечами:

– Обыкновенный...

– Конечно обыкновенный, только вот такие обыкновенные фронтовые ребята и нужны нам. Чем занимаемся, знаешь?

Я кивнул, но, видимо, не совсем уверенно, потому что оперативник важно сказал, подняв вверх палец:

– Бандитизм. Убийства. Разбой. А это тебе не фунт изюма. Ты на фронте разведчиком был?

– Точно. Командир разведроты.

– Приживешься. Весной будет набор в юршколы – мы тебя туда быстренько затолкаем...

В этот момент с шумом растворилась дверь, и в кабинет влетел парень – смуглый, волосы до синевы черные, глаза веселые и злые, а плечи в пиджаке не помещаются. Мельком взглянул, засмеялся – как пригоршню рафинада рассыпал:

– Ты Шарапов? Здравóво! Жеглов моя фамилия...

Я удивленно посмотрел на человека за столом, а Жеглов крикнул ему:

– Ну-ка, отец Григорий, кыш со стула!

– Я тут поработал немного, – сказал задумчиво, важно Григорий, медленно разогнул свои бесчисленные суставы и выпрямился, как штатив на пляже.

– Вы тут уже, наверное, познакомились? – спросил Жеглов.

– Ну, более-менее, – пробормотал я, а Григорий солидно покачал головой:

– Я пока кое-что объяснил товарищу про нашу работу...

Жеглов искоса посмотрел на него, засмеялся и сказал:

– Шарапов, ты запомни – это великий человек, Гриша Ушивин, непревзойденный фотограф, старший сын барона Мюнхаузена. Мог бы зарабатывать на фотокарточках бешеные деньги, а он бескорыстно любит уголовный розыск...

– Ну знаешь, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели! – закричал Гриша; он покрылся неровными красными пятнами, и стекла очков у него запотели. – Если ты хочешь со мной поругаться...

– Упаси бог, Гриша! – захохотал Жеглов. – Шарапов – человек военный, он тебя лучше всех поймет. Не твоя же вина, что медкомиссия тебя до аттестации не допускает. Но разве дело в погонах? А, Гриша? Все дело в бесстрашном сердце и быстром уме! Так что ты еще нами всеми здесь покомандуешь!

Гриша хотел было дать достойный ответ Жеглову, но в кабинет вошли двое – квадратный человек с неприметным серым лицом и совсем молоденький парнишка, и я узнал, что их фамилии – Пасюк и Векшин, а еще через минуту прибежал Коля Тараскин и задыхающимся шепотом сообщил, что звонил Сенька Тузик: бандиты назначили встречу...

Так я вошел в группу Жеглова, и было это двадцать часов назад, и произошло с нами всеми за этот день такое, что у меня теперь не будет времени на привыкание, учебу и притирку – надо с ходу заменять погибшего сотрудника...

На кухне огромной коммунальной квартиры оказался только один человек – Михаил Михайлович Бомзе. Он сидел на колченогом табурете у своего стола – а на кухне их было девять – и ел вареную картошку с луком. Отправлял в рот кусок белой рассыпчатой картошки, осторожно макал в солонку четвертушку луковицы, внимательно рассматривал ее прищуренными близорукими глазами, будто хотел убедиться, что ничего с луковицей от соли не произошло, и неспешно с хрустом разжевывал ее. Он взглянул на меня так же рассеянно-задумчиво, как смотрел на лук, и предложил:

– Володя, если хотите, я угощу вас луком – в нем есть витамины, фитонциды, острота и общественный вызов, то есть все, чего нет в моей жизни. – И, покачив лысой острой головой, тихо заперхал, засмеялся.

– В нем полно горечи, Михал Михалыч, – сказал я, усаживаясь напротив. – Так что давайте я лучше угощу вас омлетом из яичного порошка!

– Спасибо, друг мой, вам надо самому много есть – вы еще мальчик, у вас всегда должно быть чувство голода. – Он смотрел на меня прищурясь, и все его лицо было собрано в маленькие квадратные складочки, а кожа коричневая – в темных старческих пятнах. И может быть, потому, что Михал Михалыч вытягивал сильно голову из коротенького

плотного туловища с толстыми лапками-руками и маленькими ногами, казался он мне очень похожим на старую добрую черепаху. И носил он к тому же коричневый костюм в клетку, цветом и мешковатостью напоминавший ячеистый панцирь.

Я бросил на сковороду комок белого свиного лярда, разболтал в чашке яичный порошок – желтая жижа с бульканьем и шипением разлилась на черном чугуने, – потом принес из комнаты буханку черного хлеба и сохранившиеся шесть кусков сахара, а у Бомзе был чай на заварку. Так что завтрак у нас получился замечательный.

Старик ел мало и медленно, и я видел, что еда не доставляет ему никакого удовольствия – ест, потому что если не есть, то, наверное, скоро умрешь. Вот он и ел, не ощущая вкуса, равнодушно и неторопливо, будто выполнял скучную, надоевшую работу. Потом отложил вилку и сказал:

– Впрочем, вы уже не мальчик. Вы уже мужчина. Сколько вам минуло?

– Двадцать два.

– Двадцать два, двадцать два... – Старик высунул из-под панциря и снова спрятал острую головку. – Как я был счастлив в двадцать два года!

От воспоминаний он прикрыл тонкие синеватые перепонки век, и со стороны можно было подумать, что старик заснул. Но он не спал, потому что зашевелились лапки на столе, и он спросил:

– Володя, а вы счастливы в свои двадцать два?

Я пожал плечами:

– Не знаю, вроде бы все нормально.

– А я точно знал, что счастлив. И счастье, когда-то огромное, постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким – как камень в почке...

Я посмотрел на него искоса: в уголке черного мутного глаза застыла печаль, едкая, как неупавшая слеза. Жалко было старика – уж больно тоскует.

– Михал Михалыч, ну что вы здесь один маетесь? У вас же есть какие-то родственники или друзья в Киеве – вы бы поехали к ним, все-таки веселее...

Бомзе покачал своей маленькой сухой изморщенной головой, грустно усмехнулся широким черепашьям ртом.

– Сколько улитка по земле ни ходит, от своего дома все равно не уйдет. Кроме того, – сказал он, минутку подумав, – они все уже старые, а старикам вместе жить не надо. Старикам надо стараться притулиться где-нибудь около молодых – это делает прожитую ими жизнь более осмысленной...

Сына Бомзе – студента четвертого курса консерватории – убили под Москвой в октябре сорок первого. Он играл на виолончели, был сильно близорук и в день стипендии приносил матери цветы. В нашей квартире никто никому никогда не дарил цветов, и эти букетики пробуждали к юноше чувство одновременно жалостливое и почтительное, ибо при всей очевидной нелепости траты денег на цветы, когда их за городом можно нарвать сколько угодно, соседи ощущали

именно в этих цветочках нечто возвышенное и трогательное.

Цветы приобрели наглядный смысл, когда старики Бомзе получили извещение о смерти сына. Мать, никогда не болевшая раньше, прожила после этого три дня и умерла ночью, во сне, и обряжавшие ее и хоронившие на Немецком кладбище соседи почему-то больше всего вспоминали про эти цветы, словно они были самым главным, что запомнилось им из короткой жизни мальчика, быстрого, близорукого, извлекавшего из своей виолончели трепетно-тягучие, волнующие и не очень понятные мелодии...

– А вы довольны своей новой работой, Володя? – спросил Михал Михалыч.

– Как вам сказать... Я еще и сам не разобрался, – уклончиво ответил я, вспомнил Васю Векшина и подумал, что вряд ли тот был старше сына Михал Михалыча. И больше ничего говорить не стал, потому что старику вовсе не следовало знать, как я провел свой первый день в МУРе. Посмотрел на часы и стал торопливо собираться.

– Оставьте, Володя, я сам потом вымою посуду – я ведь на свою работу не опоздаю, ибо удачно пошутить никогда не поздно... – сказал старик.

Работа у Бомзе была необычная. До войны я вообще не мог понять, как такую ерунду можно считать работой: Михал Михалыч был профессиональный шутник. Он придумывал для газет и журналов шутки, платили ему очень немного и весьма неаккуратно, но он не обижался, снова и снова при-

носил свои шутки, а если они не нравились – забирал или переделывал. Он любил повторять, что, к счастью, за самые лучшие шутки и анекдоты ему не назначили гонорара. Называлась его профессия «юморист-малоформист», и меня всегда удивляло, как может придумывать действительно смешные шутки и истории такой унылый и тихий человек...

Мне показалось, что Михал Михалыч хочет сказать что-то важное, но на кухню ввалилась Шурка Баранова со всеми пятью своими отпрысками, и сразу поднялся здесь невыразимый гвалт, суета, беготня, топот, крики, смех и плач одновременно, дети хватали из тарелки картошку Бомзе, дергали меня за ремень, один подлез под полу шинели, чтобы пощупать кобуру пистолета, другой забрался к старику на колени, все они хотели кричать, бегать, есть, они хотели жить, и я понял, почему старик не желает уезжать отсюда в Киев не то к друзьям, не то к родственникам.

* * *

КЛЕВ РЫБЫ

На подмосковных водоемах изо дня в день усиливается клев рыбы. Щука берет лучше всего на Истринском водохранилище. Здесь попадаются экземпляры весом в 4–5 кг. Хорошо клюет и окунь,

нередко довольно крупный, 600–700 граммов.

«Вечерняя Москва»

В отделе было шумно: опердежурный Соловьев выиграл по довоенной еще облигации пятьдесят тысяч. Счастливчик, очень довольный и гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуяла скромность, и он стал отказываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал, но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения замечательными соловьевскими глазами, а потому, что это дело политически важное.

Потом пришел Жеглов, которому Соловьев в тысячный раз поведал, как он вчера «так просто, от скуки, чтоб время, значит, убить» проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу:

– Смотрю, братцы вы мои, серия сходится! А как увидел выигрыш – полтинник, – так и номер проверять опасаясь, вдруг, думаю, не тот, получи тогда «на остальные номера выпали...». Отложил я газету на диван, пошел перекурить...

– А сердце так и бьется, – сочувственно сказал Жеглов.

– Ага... – простодушно подтвердил Соловьев. – Зову Зинку. Зинк, говорю, у тебя рука счастливая, проверь-ка номер... Да, братцы, это не каждому так подвалит...

– Еще бы каждому! – подтвердил Жеглов. – Судьба, брат, она тоже хитрая, достойных выбирает. А как тратить будешь?

– Ха, как тратить! – Соловьев залился счастливым смехом. – Были б гроши, а как тратить – нет вопроса.

– Не скажи, – помотал головой Жеглов, – «нет вопроса»... К такому делу надо иметь подход серьезный. Я вот, например, полагаю, что достойно поступил Федя Мельников из третьего отдела...

– А чего он? – спросил Соловьев озадаченно.

– А он по лотерее перед самой войной выиграл легковой автомобиль ЗИС-101, цена двадцать семь тысяч.

– И что?

– Что «что»? Как настоящий патриот, Федя не счел правильным в такой сложный международный момент раскатывать в личном автомобиле. И выигрыш свой пожертвовал на дело Осоавиахима, понял?

Лицо Соловьева сильно потускнело от этих слов Жеглова, как-то пригасло оно от его рассказа, помялся он, пожевал губами, обдумывая наиболее достойный ответ, и сказал:

– Мы с тобой, товарищ Жеглов, люди умные, должны понимать, что война кончилась, государство специально тираж разыграло, чтобы людям, за трудные времена пообтрепавшимся, облегчение сделать. Да и Осоавиахима уже нет никакого...

Жеглов ухмыльнулся, потрепал Соловьева по плечу, ска-

зал не то всерьез, не то шутейно:

– Это, Соловьев, только ты умный, а я так, погулять вышел... Конечно, вместо Осоавиахима я бы тебе другой адресочек мог подбросить, но, вижу, ты к этой идее относишься слишком вдумчиво. Поэтому, так и быть, ограничимся коньячком с твоего выигранного капитала. Сделались?

Соловьев явно обрадовался благополучному исходу.

– Что за вопрос между друзьями! – сказал он важно. – Обмоем, как водится!

– Не обманешь? А то на посуле как на стуле: посидишь, да встанешь, – недоверчиво покачал головой Жеглов и, будучи не в силах уговориться, добавил: – К тому же теперь будет у кого перехватить до получки, а?

Соловьев готовно покивал, но в глазах его я особой радости по поводу жегловских планов не заметил.

– Теперь дочке пианино куплю, – сказал он. – А то в школу на трех трамваях ездит, покою нету... Жене, Зинке, отрез панбархата возьму, в комиссионке на Столешникове видел. Ши-икарный отрез, розовый, две с половиной стоит...

– А слоники у тебя на комодке есть? – поинтересовался Жеглов.

– Какие еще слоники? – не понял дежурный.

– Семь таких слоников, мал мала меньше, они еще счастье приносят.

– А у тебя эти слоники есть? – спросил, подумав, Соловьев.

– Есть, – соврал Жеглов и «подставился».

Радостно захохотав, Соловьев заорал:

– Вот у тебя есть, а у меня нет, а счастье все равно мне подвалило! Суеверие одно, товарищ Жеглов, ты на них, на слоников, не надейся...

– Ну и дурак, – сказал Жеглов и хотел еще что-то добавить, но зазвонил телефон.

Глеб снял трубку, и по ходу разговора улыбка сошла с его лица, вытянулось оно, и жестко сжались губы.

– Хорошо, – отрывисто сказал он в трубку. – Сейчас выезжаем. – Дал отбой и скомандовал: – Бригада, на выезд. В Уланском – труп ребенка!

* * *

Во дворе около столовой стоял старый красно-голубой автобус с полублезшей надписью «Милиция» на боку. Шесть-на-девять крикнул мне:

– Гляди, Шарапов, удивляйся: чудо века – самоходный автобус! Двигается без помощи человека...

Трофейный «опель-блиц» наверняка за долгую свою жизнь повидал виды. От старости и того невыносимо тяжелого груза, что пришлось ему повозить за долгие годы, просели рессоры и высохли амортизаторы, машина будто припала к земле громоздким брюхатым кузовом на хилых перелатанных баллонах и неуклюжей статьей своей и плоской при-

давленной мордой походила на огромного больного бульдога.

Водитель автобуса Копырин ходил вокруг машины, задумчиво пиная колеса, и недовольно качал головой, не обращая внимания на подначки оперативников. Взглянул на меня и, может, потому, что я один не смеялся над его транспортом, сказал мне доверительно:

– Эх, достать бы два баллона от «доджа», на задок поставить – цены бы «фердинанду» не было.

– Какому «фердинанду»? – спросил я серьезно.

Копырин засмеялся:

– Да вот они, балбесы наши, окрестили машину, теперь уж и все так кличут. Мол, на самоходку немецкую, «фердинанд», сильно смахивает...

Я улыбнулся: и верно, в приземистой кургузой машине было что-то общее с тупым напористым ликом самоходного орудия.

– Ты-то сам против них стоял когда? – спросил Копырин.

– Случалось, – ответил я, и в этот момент прибежал Жеглов.

Копырин влез в кабину. Пассажирскую дверь он отпирал длинным рычагом, когда-то никелированным, а теперь облезшим до медной прозелени и все-таки не потерявшим своего шика – гнутая ручка на фигурном кронштейне.

Первым в автобус прыгнула огромная дымчатая овчарка Абрек, степенно залез проводник-собаковод Алимов, ныр-

нул ловко Коля Тараскин, загремел на ступеньках своей аппаратурой и нескладными суставами Шесть-на-девять, осторожно, будто в лодку входил, подался судмедэксперт, я шагнул – раз-два, к переднему сиденью в углу. Жеглов встал на подножку, молча оглядел всех, словно еще раз проверил, есть ли смысл брать нас с собой, и только тогда кивнул шоферу.

Копырин нажал ногой на педаль, стартер завыл так тонко и горестно, так скулил он от истощения и старости аккумулятора, что пес Абрек тревожно поднял голову, дыбком воздел уши и ответил ему низким рыком. Шесть-на-девять, восседавший на кондукторском месте, уже открыл рот, чтобы оценить должным образом ситуацию, но Жеглов бросил на него короткий взгляд, быстро сказал:

– Помалкивай...

И мотор наконец чихнул, затем еще раз, еще – вспышки разрослись в частый треск, – заревел громко и счастливо, заволок двор синим едучим угаром, и «фердинанд» тронулся, выполз на Большой Каретный и взял курс на Садовую.

* * *

Жиденья толпа стояла у дверей подъезда во дворе пятиэтажного дома в Уланском переулке. Копырин лихо затормозил, проводник выскочил с Абреком первым, за ним, мелко грохоча каблуками по металлическим ступенькам авто-

буса, вывалились остальные. Навстречу им шагнула девушка в милицейской форме, четко вскинула руку к козырьку:

– Здравия желаю! Докладывает младший сержант Синичкина: вызов оказался ложным, ребенок жив, это просто подкидыш.

– А что же сразу не могли разобраться – жив ребенок или нет? – недовольно спросил Жеглов. – Какого черта дергаете по пустякам муровскую бригаду?

Девушка покраснела, быстро ответила:

– Вызов к дежурному по городу был сделан соседями еще до того, как я прибыла на место происшествия. Я пришла со своего поста десять минут назад и сразу позвонила на Петровку, но вы уже выехали...

– А где сейчас ребенок? – поинтересовался Жеглов.

– Его в квартиру пока внесли, там наверху, – показала Синичкина рукой. – Чего же ему еще на холоде терпеть?

– А почему вообще решили, что он мертвый? – все еще сердито допытывался Жеглов.

– Его обнаружил на лестничной клетке около чердачной двери слесарь Миляев...

Из-за ее спины вырос невысокий парень в замызганной черной краснофлотской шинели, на деревянной ноге, зататорил бойко-бойко, сглатывая концы фраз:

– Елки-моталки, а чего ж мне еще-то думать, когда иду я на чердак, магистраль бандажить, а оно здесь и лежит, кулечек махонький, люля запеленутая, и тишина гробовая – ни

тебе крика, ни сопения, а сплошное молчание, — и взял меня страх, что какая-то стервоза, извергиня, собственное дитя жизни лишила, ну, я тут сразу же бегом в тридцать вторую квартиру — телефон у них — и вызвал власти милицейские, чтобы дознались они про этого демона в женском обличье...

— Все понятно, — кивнул Жеглов. — Ну, раз приехали, давай, Шаратов, поднимемся с тобой, взглянем на найденыша...

— А что же делать-то с ним, с маленьким? — спросила Синичкина. — Он ведь такой крошечный, как будет без матери — непонятно...

— Чего непонятного — вырастет! — сказал Жеглов, быстро перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. — Не бросит его страна, государство вырастит, еще неизвестно, может быть, станет лучше других, в хоме взлелеянных деток.

Синичкина спросила:

— А мать искать будем? Жалко маленького...

— На кой она нужна, такая мать?! — хмыкнул Жеглов. — Хотя личность ее надо попробовать установить, от такой паскуды можно чего угодно ожидать...

На площадке пятого этажа нас встретил басистый могучий рев, дверь в тридцать вторую квартиру была приоткрыта, старушка качала на руках завернутого в одеяло младенца.

— Проснулся вот — есть просит, — сказала она, протягивая нам сверток, будто мы могли его накормить.

Я очень осторожно взял ребенка на руки и удивился, ка-

кой он легонький. Личико его покраснело от крика, он сердито открывал свой крошечный беззубый ротик, издавая пронзительный гневный крик. Я сказал ему растерянно:

– Ну, потерпи, карапуз, потерпи немного... Потерпи, ку-
тька, чего-нибудь придумаем...

Жеглов взглянул на меня, усмехнулся:

– Ты веришь в приметы?

– Верю, – сознался я.

– Добрый тебе знак. Мальчишка-найденыш – это добрая примета, – сказал, улыбаясь, Жеглов и велел Синичкиной распеленать ребенка.

– Зачем? – удивилась девушка, и я тоже не понял, зачем надо разворачивать голодного и, наверное, замерзшего ребенка.

– Делайте, что вам говорят...

Синичкина быстрыми ловкими движениями распеленывала мальчика на столе, и мне приятно было смотреть на ее руки – белые, нежные, несильные, какие-то особенно беззащитные оттого, что слабые запястья высывались из обшлагов грубого шинельного сукна. Синичкина сердито хмурила брови, сейчас совсем немодные – широкие и вразлет, а не тоненькие, выщипанные и чуть подбритые в плавные, еле заметные дуги.

Жеглов взял малыша на руки, и тот заревел еще пуще. Держа очень осторожно, но твердо, Жеглов бегло осмотрел этот мягкий орущий комочек, вынул из-под него мокрую пе-

ленку и снова передал мальчика Синичкиной:

– Все, заворачивайте. Смотри, Шарапов, у него на голове родимое пятнышко...

На ровном пушистом шарике за левым ушком темнело коричневое пятно размером с фасолину.

– Ну и что?

– Это хорошо. Во-первых, потому, что будет в жизни vezучим. Во-вторых, вот здесь, в углу пеленки, полустершийся штамп, значит пеленка или из роддома, или из яслей. Пеленку заверни, отдадим нашим экспертам – они установят, что там на штампе написано было. А тогда по родимому пятнышку и узнаем, кто его хозяин. Кстати, как думаешь, сколько времени пацану?

– Я думаю, недели две-три, – неуверенно предположил я.

– Ну да! Как же! – усомнился Жеглов. – Ему два месяца.

– Мальчику – месяц, – сказала Синичкина. – Он ведь такой крошечный...

– Эх вы, молодежь! – засмеялась старуха, до сих пор молча наблюдавшая за нами. – Сразу видать, что своих-то не нянчили. Три месяца солдату: видите, у него рожденный волос уже полез с головы, на настоящий меняется, – значит, четвертый месяц ему...

– Ну и хорошо, скорее вырастет, – ухмыльнулся Жеглов. – Значитца, так: ты, Шарапов, с Синичкиной махнешь сейчас в роддом. Какой здесь поближе? Наверное, на Арбате – имени Грауэрмана. Пусть осмотрят пацана – не заболел ли, не

нуждается ли в какой помощи – и пусть его накормят там чем положено. А к вечеру договоримся – переведут его в Дом ребенка...

– Слушай, Жеглов, а могут не принять ребенка в роддоме? – спросил я.

Жеглов сердито дернул губой:

– Ты что, Володя, с ума сошел? Ты представитель власти, и в руках у тебя дите, уже усыновленное этой властью. Кто это посмеет с тобой спорить в таком вопросе? Если все же вякнет кто полслова, ты его там под лавку загони... Все, марш!

Я нес ребенка, и, угревшись в моих руках, мальчик замолчал. Жеглов шагал по лестнице впереди и говорил мне через плечо:

– ...Батяня мой был, конечно, мужик-молоток. Настрогал он нас – пять братьев и сестер – и отправился в город за большими заработками. Правда, нас никогда не забывал – каждый месяц присылал доплатное письмо. Один раз даже приехал – конфет и зубную пасту в гостинец привез, а на третий день свел со двора корову. И чтобы следов не нашли, обул ее в опорки. Может быть, с тех пор во мне страсть к сыскному делу? А, Шарапов, как думаешь?

Я что-то такое невразумительно хмыкнул.

– Вот видишь, Шарапов, какую я тебе смешную историю рассказал... – Но голос у Жеглова был совсем невеселый, и лица его в сумраке полутемной лестницы было не видеть.

Мы вышли из подъезда. Здесь все еще стояли зеваки, и Коля Тараскин говорил им вяло:

– Расходитесь, товарищи, расходитесь, ничего не произошло, расходитесь...

А слесарь Миляев, в краснофлотской шинели, покачиваясь слегка на своей деревяшке, водил перед носом Копырина черным сухим пальцем и доверительно объяснял:

– Я тебе точно говорю: в человеке самое главное – чтобы он был человеческим...

Жеглов тряхнул головой, словно освобождаясь от воспоминания, пришедшего к нему на лестнице, и по тому, как он старательно не смотрел на меня, я понял, что он жалеет вроде бы о том, что разоткровенничался. И засмеялся он как-то резко и сердито, сказав шоферу:

– Слушай, Копырин, поскольку ты у нас самый человеческий человек, то давай побыстрее отвези Шарапова с сержантом Синичкиной на Арбат в роддом. И мигом назад – в шестьдесят первое отделение милиции, это рядом, мы пешком дойдем. Я позвоню на Петровку, и мы вас там дождемся...

Синичкина вошла в автобус, я протянул ей ребенка. Жеглов придержал меня за плечо, шепнул на ухо:

– А к сержанту присмотришь! Девочка-то правильная! И адрес роддома запомни, – может, еще самому понадобится...

Я почему-то смутился, я ведь на нее как на женщину и не посмотрел даже, милиционер и милиционер, их сейчас,

девушек-милиционеров, больше половины Управления. Вся постовая служба, считай, ими одними укомплектована.

«Фердинанд» тронулся. Жеглов помахал нам рукой. Синичкина, прижимая к себе ребенка, смотрела в затуманенное дождем стекло. И лицо ее – круглое, нежное, почти детское – тоже было затуманено налетом прозрачной печали, легкой, как дымка, грусти. И я неожиданно подумал, что нехорошо разглядывать ее вот так, в упор, потому что от слов Жеглова ушло то простое и естественное удовольствие, с которым я смотрел давеча, когда она пеленала мальчика, на ее быстрые ловкие руки. Но все равно смотрел, с жадностью и интересом. Хорошо бы поговорить с ней о чем-нибудь, но ни одной подходящей темы почему-то не подворачивалось. А она молчала.

– Вы почему так погрустнели? – наконец спросил я.

Она посмотрела на меня, улыбнулась:

– Задумалась, кем станет этот человечик, когда вырастет...

– Генералом, – сказал я.

– Ну, не обязательно. Может, он станет врачом, замечательным врачом, который будет спасать людей от болезней. Представляете, как здорово?

– Да, это было бы прекрасно, – согласился я. – А может быть, он станет милиционером? Сыщиком?

Синичкина засмеялась:

– Когда он вырастет, уже никаких жуликов не будет. Вам

сколько лет?

– Двадцать два.

– А ему двадцать два исполнится в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Представляете, какая замечательная жизнь тогда наступит?

– Да уж, наверное...

– Вы давно в уголовном розыске служите?

Мне было как-то неловко сказать, что сегодня фактически второй день, и я бормотнул уклончиво:

– Да нет, недавно. Я после фронта.

– А я просилась на фронт – не пустили. Вы не слышали, скоро будет демобилизация женщин из милиции?

– Не слышал, но думаю, что скоро. Когда я в кадрах оформлялся, слышал там разговор, что сейчас большое пополнение идет за счет фронтовиков.

– Ой, скорее бы...

– А что будете делать, когда шинель снимете?

– Как что? В институт вернусь. Я ведь со второго курса ушла.

– А вы в каком учились – в медицинском?

– Нет, – вздохнула Синичкина. – Поступала и не прошла, приняли меня в педагогический. Но мне кажется, что это тоже хорошая профессия – детей учить. Ведь правда хорошая?

– Правда, – улыбнулся я.

Автобус проехал через Собачью площадку и затормозил у роддома. Синичкина сказала:

– Вы не теряйте со мной времени, поезжайте назад, а за парня не беспокойтесь – я сама справлюсь...

Мне очень хотелось спросить у Синичкиной, как ее найти, или хотя бы телефон записать, но Копырин уже распахнул дверь своим никелированным рычагом-костылем и, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на нас с ухмылкой, и я представил себе, как, вернувшись, он будет всем рассказывать, что новенький опер, вместо того чтобы делом заниматься, стал клинья подбивать к симпатичному сержанту, и как все начнут веселиться и развлекаться по этому поводу, и от этого сказал неожиданно сухо:

– Хорошо. Оформите все, как полагается, и пришлите рапорт, а мы поедем.

Девушка посмотрела на меня удивленно, ресницы ее дрогнули.

– Слушаюсь. До свидания.

Тоненькая высокая ее фигурка скрылась за дверью роддома, а я все смотрел ей вслед, пока Копырин не сказал за спиной:

– Дуралей ты, Шарапов. Дивчина какая, а ты ей – «пришлите рапорт». Я бы на твоём месте ей сам каждый день рапорт отдавал...

* * *

На заводе, где начальником цеха ширпотреба тов.

Голубин, начали изготавливать керосинки, известные под названием «корогаз». Они отличаются от обычных керосинок не только внешней формой и хорошей отделкой, но и новой конструкцией, экономичностью и бесшумным горением.

«Вечерняя Москва»

Около двух часов Жеглов заглянул в комнату, сказал:

– На выезд – мужика застрелили... Давайте быстро! – И закрыл дверь.

Я торопливо натянул шинель и вместе со всеми побежал к автобусу. В салоне было сыро, холодно, пронзительно воняло махоркой, и я с сочувствием посмотрел на пса: тот судорожно разевал громадную пасть и тряс головой. Я подумал, что, если бы собаки могли падать в обморок, Абрек, при его тонком нюхе, запросто лишился бы чувств. Но Абрек позевал, поерзал и, удобно устроив здоровенную башку на коленях у проводника, задремал, изредка открывая глаза, когда шофер включал пронзительно завывающую сирену. Автобус мчался с большой скоростью – пятьдесят, не меньше, – и я с удовольствием видел, как при звуках сирены прочие машины сбавляли скорость, сторонились, пропуская «фердинанд». По окну медленно скатывались грязноватые капли дождя, стекло было мутное, но я заметил, что каждый раз, когда пассажир из обгоняемой машины смотрел в нашу сторону, Шесть-на-девять принимал озабоченно-серьезный вид утомленного исключительными, первойшей госу-

дарственной важности делами человека, хотя его и разглядеть-то никто не мог, потому что на улице было пасмурно, а автобус освещался одной-единственной крохотной автомобильной лампочкой в пятнадцать свечей.

Жеглов, пользуясь случаем, спал, судмедэксперт, обернувшись к Тараскину, о чем-то тихо с ним беседовал, и даже Шесть-на-девять уgomонился, поднял бархатный воротничок своей куртки, натянул на глаза клетчатую кепку и о чем-то сосредоточенно думал...

Где-то в районе Нижних Котлов автобус заскрежетал, дернулся пару раз и остановился. Копырин своим рычагом открыл переднюю дверь, и я выскочил наружу первым, потом потянулись остальные. Нас встречал участковый, высокий худющий лейтенант в старой заношенной шинели. Участковый поискал глазами среди прибывших начальство, и длинное унылое лицо его выражало растерянность и недовольство. Решив, видимо, что старший – я, поднес руку к козырьку:

– Покушение на убийство, товарищ начальник. При помощи огнестрельного оружия в лице охотничьего ружья... – И представился: – Участковый уполномоченный лейтенант милиции Воробыхин!

Жеглов усмехнулся мимолетно, приказал:

– Конкретно докладывай: где, когда, кого, кто?.. Ну! Охрана места происшествия обеспечена?

Воробыхин, оттого что не опознал начальника, смутился,

растерянность его возросла, он неловко щелкнул большими кирпичовыми сапогами и начал путано объяснять, показывая рукой на одноэтажный домик, около которого толпились люди:

– Вот в этом, значит, доме дело было... Фирсов тут живет, Елизар Иваныч. Фронтовик, человек положительный. В общем, гость у него сегодня был, друг его. Они, значит, за столом сидели, потом Елизар Иваныч плясать стал, а друг его на гармони играл. Глядь, ни с того ни с сего выстрел через окно, стекло – чпок! – конечно...

– Попал? – спросил Жеглов.

– В Елизар Иваныча – в голову, в плечо... дробью.

– Ну?..

– «Скорая» увезла – жив был, только без сознания.

– Пошли! – махнул рукой Жеглов, двинулся к домику, уже на ходу спрашивая дальше: – Кто-нибудь видел преступника?

– Не видели... – вздохнул огорченно участковый. – Друг-то его сразу кинулся к Елизару Иванычу, а уж как жена в комнату вбежала, он тогда на улицу подался... Да где там, этого, кто стрелял, уже и след простыл...

– Подозреваешь кого? – спросил Жеглов, входя через калитку за палисадник и направляясь не к дверям домика, как я ожидал, а к окнам. Одно было разбито, и Жеглов задержался около него.

– Трудно сказать... – неопределенно отозвался Воробы-

хин. – Есть у нас, конечно, шпана разная, но ведь в лицо-то не видели. Как тут привлекать?..

– Привлекать погодим, – согласился Жеглов. – Сначала лицо надо определить подходящее... Значитца, так-с... Тараскин, Гриша, ну-ка, посветите перед окном фонарями!

Мягкая мокрая земля перед окном вся была истоптана. Уловив недовольный взгляд Жеглова, Воробьихин сказал, разведя руками:

– Это еще до моего прибытия, товарищ начальник. Народу тьма под окном побывала.

Жеглов хмыкнул, вопросительно посмотрел на проводника Алимова, тот, в свою очередь, посмотрел на Абрека и пожал плечами:

– Я его от палисадника пушу, товарищ капитан. Все ж таки меньше там натоптали... – И, намотав на руку ремень-поводок, побежал с собакой за калитку.

Жеглов внимательно осмотрел раму разбитого окна, обернулся, заметил меня, подозвал к себе:

– Иди сюда. Видишь, дыра в наружном стекле не очень большая, внутреннее стекло разбилось сильнее. В деревянной раме следов от дробы совсем мало. Это что означает?

– Кучно заряд летел, – сказал я.

– Значит?..

– Значит, близко стреляли, из палисадника.

– Правильно, – одобрил Жеглов. – А посему общитесь с Тараскиным весь палисадник перед окнами, особенно вон

тот крыжовник, и найдите мне следы ног преступника. Еже-
ли найдете пуговицу его или там носовой платок – поощрю
особо!

Тараскин кивнул совершенно серьезно – ясно, мол, будет
сделано, – но мне не казалось таким очевидным, что пре-
ступник специально приготовил для нас против себя улики,
и я спросил:

– А если там ничего этого не будет?..

– Тогда там обязательно будет пыж. Знаешь, что такое? –
прищурился Жеглов. – Кто ищет, тот всегда найдет. Валяйте,
а я пойду в дом, там пора осмотреться...

К великому моему удивлению, через несколько минут в
гуще крыжовника действительно нашли незатоптанные сле-
ды обуви, особенно отчетливым был след правого сапога,
глубоко отпечатавшийся в глинистой податливой почве.

– Вот отсюда он и стрелял, паразит, – сказал Тараскин. –
Видишь, прямая линия к окну проходит и все, что в комнате,
как на ладони. А его самого с улицы за кустами не видно.
Шарахнул – и ходу!

Освещая землю фонариком, мы старательно, сидя на кор-
точках, просматривали весь участок перед окнами, но ниче-
го интересного больше не находили. Уже собрались заканчи-
вать, когда я углядел вдавленный чьим-то каблуком в глину
комочек бумаги. Аккуратно выковырял его ножом, осветил
фонарем вплотную, осторожно расправил на ладони – кусок
рваной газеты, резко отдававший кислой пороховой гарью.

Это был пыж.

Вернулся с улицы проводник с собакой; Абрек следа не взял, и Алимов ворчал себе под нос насчет того, что несоznательный народ не создает ну никаких тебе условий для работы. Из дома появился Жеглов. Я уже вошел в азарт и даже слегка волновался в предвкушении похвалы за свой первый успех. Но Жеглов воспринял мой рапорт о находках как нечто должное.

– Ага. Ладно, – сказал он только и повернулся к фотографу Грише. – Сейчас Копырин в больницу поедет. Ты отправляйся с ним, заедешь в нашу многотиражку, там есть подшивки газет, в первую очередь «Правду», «Известия» и «Вечерку» надо тебе будет смотреть. А пыж приведи в божеский вид и попробуй узнать, от какой газеты бумага. Если удастся, постарайся найти тот самый номер газеты и быстро-быстро вези сюда. Понял?

– Понял, – кивнул Шесть-на-девять. – Я один раз по страничке, вырванной из книги, владельца определил...

– Во-во, – перебил Жеглов. – Все, двигай. Одна нога здесь, другая там!

Гриша пошел к автобусу, а Жеглов спросил участкового:

– Воробьихин, у кого на твоём участке ружья охотничьи имеются?

– Да вроде бы и не припомню, – сказал, подумав, Воробьихин. – У нас как будто охотников нету, у нас больше рыбалкой занимаются...

– Пронин Сенька ружьишком баловался, – неожиданно подал голос молчавший до сих пор сухопарый мужичонка в серой телогрейке – сосед Фирсова, взятый Жегловым в понятия.

– Про-онин? – переспросил участковый. – Не-ет, он еще когда свою «тулку» на велосипед поменял.

– Все равно надо с ним повидаться, – сказал я. – Они с Фирсовым-то в каких отношениях?

– В нормальных, ничего промеж ними не было, – ответил Воробыхин.

– Ну, коли и не было, он небось про охотников-то побольше твоего знает, – сказал участковому Жеглов. – Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. И охотник то же самое.

Пронин подтвердил слова участкового и даже велосипед показал – старенькую ободранную «украинку» с разноцветными шинами: одной черной, другой, видимо трофейной, – зеленой. И насчет охотников уверенно сказал:

– Нет ни одного во всей округе, я, может, потому «тулку» и продал, что не с кем в компании, значит, на охоту сбегать...

А когда шли уже по улице, возвращаясь к дому Фирсова, Пронин догнал нас и, запыхавшись, поведал:

– Совсем из головы вон! У меня недели две назад Толик Шкандыбин порох и дробь одалживал – патронов на пять. Я еще его спросил: «Ты что, полевать задумал?» А он говорит: «В деревню собираюсь, может, и поброжу по лесу с ружьишком. Там охота, – говорит, – раньше богатая была».

– Так у него ружье есть, выходит? – спросил Жеглов, иронически взглянув на Воробьихина.

– Нету, нету у него ружья, – торопливо сказал Пронин. – Я потому и забыл про него. У деда, говорит, двустволка, он колхозную конюшню сторожит.

Жеглов одобрительно похлопал Пронина по плечу и отпустил его. Воробьихин сказал задумчиво, вполголоса, будто сам с собой советовался:

– Вот Шкандыбин – это как раз шпана отпетая. Сидел не раз и поныне элемент уголовный. И живет с Фирсовым по соседству...

– Какие-нибудь счета, споры между ними были? – деловито спросил Жеглов.

– Насчет этого не скажу, не слыхал. Заявлений от граждан не было.

Похоже было, что Жеглову надоел бестолковый участковый, потому что он сказал весело-зло:

– Слушай, Воробьихин, ты, вообще-то, для чего здесь проедаешься, а? Насчет этого ты не слыхал, того не видал, прочего не знаешь, а в остальном не в курсе дела.

Воробьихин обиженно скривил рот, забубнил что-то в свое оправдание, но Жеглов больше его не слушал. Он шел по улице широким, размашистым, чуть подпрыгивающим шагом, за ним безнадежно пытался угнаться участковый Воробьихин, который перестал интересовать Жеглова, словно и не существовало его никогда, и не говорили они ни о чем,

и сроду нигде не встречались.

Именно тогда, в тот вечер, мне впервые пришло в голову, что Жеглов никогда не остановится на полпути, и человеку, чем-либо разочаровавшему или рассердившему его, лучше отступить с дороги. И тогда, в тот незапамятно далекий вечер, я еще не знал, нравится мне это или вызывает глухое раздражение, поскольку меня восхищал жегловский опыт и умение заставить работать всех быстро и с полной отдачей и в то же время пугала способность вот так мгновенно и бесповоротно вычеркнуть человека, словно тряпкой с доски слово стереть.

Войдя в дом, Жеглов спросил жену и соседей пострадавшего:

– Ну-ка, друзья, вспоминайте, думайте, говорите – имел Толик Шкандыбин за что-нибудь зуб на Елизара Иваныча, а?

Жена ничего определенного сказать не могла, но вездесущий сосед сообщил:

– А как же! Была меж них крупная баталия... Толик этот, Шкандыбин, как вернулся последний раз из лагеря, заскучал: дружков его всех почти прибрали ваши, значит, милицейские товарищи. У него только и делов осталось по вечерам ворота подпирать... Теперь завел он новую моду: соберет на лавочке пацанов-малолеток и давай про жизнь блатную, вольготную сказки рассказывать. Пацаны, известно, варежки разевают, а он им, гад, травит и травит. Елизар-то Иваныч сразу сообразил, зачем он компанию себе скла-

чивает, папиросами да винцом мальчишек угощает. На той неделе проходит Елизар Иваныч мимо сборища этого, услышал – кто-то из мальцов матом кроет. Невтерпеж ему, видать, стало, подходит он к ним и говорит Толику: «Ты вот что, кончай это дело, сам себе живи как хочешь, не маленький, а ребят оставь в покое». А Толик смеется: «Я, – говорит, – их не зову, они сами ко мне липнут, что ж мне, гнать их, что ли?» Ну, Елизар Иваныч в дискуссию с ним вступать не стал, он человек простой, поднес к его роже кулачище свой пудовый и пояснил: «Я тебе слово свое сказал. Не слушаешь – милицию звать не буду, сам тебя отработаю так, что мать родная не узнает!» Шкандыбин вскочил, распсиховался, на губах пена – авторитета, видать, жалко, – и кричит Фирсову: «Ты потише, так твою и растак, пока пера моего не пробовал! Я те все кишки наружу выпущу!» Елизар Иваныч нервничать не стал, вмазал Толику легонько по морде, тот кровью и залился, на ногах не устоял. А Елизар Иваныч ребятшек прогнал по домам, на том все и кончилось...

– Видать, не кончилось, – задумчиво сказал Жеглов и поднялся. – Давайте-ка Толика этого пощекочем...

В дверях появился шофер Копырин – он доложил, что рана, к счастью, оказалась неопасной и через недельку-другую врачи обещают Фирсова выписать.

– Мелкий текущий ремонт, – заверил Копырин. – Смена масла, шприцовка, шпаклевка, легкая подкраска – и пожалуйста в рейс...

– Какого масла? – испугалась жена.

Жеглов засмеялся.

– Не обращайтесь внимания – наш Копырин уверен, что Господь Бог сотворил человека по образу и подобию автомобиля...

Я нетерпеливо дернул Жеглова за руку:

– Не смотается Шкандыбин-то, пока мы здесь толчемся?

– Идем, идем, – кивнул Жеглов и сказал соседу: – А тебя, дружок, попрошу проводить нас к этому деятелю...

* * *

Подойдя к дому Шкандыбина, Жеглов остановился.

– Иди с Абреком вперед, – сказал он проводнику. – Пусть пес его облает хорошенько.

– Глеб Георгиевич, шутите? – укоризненно спросил Алимов. – Абрек на кого попало лаять не станет. Если бы его след вывел...

– Если бы след вывел, – нетерпеливо перебил Жеглов, – я бы Шкандыбина сам облаял получше твоего пса. Делай что говорят!

– Есть, – сказал проводник, поджав и без того тонкие сухие губы, пошел вперед, и по лицу его я видел, что он все равно поступит по-своему.

Абрек, войдя в комнату, заворчал и разок гавкнул, но сделано это было, по-моему, чисто формально, только чтобы

команду проводника выполнить. Однако чернявый парень, развалившийся на кровати, покрытой лоскутным одеялом, отнесся к появлению огромной собаки иначе. Он сел и, глядя с опаской на пса, спросил нахально и в то же время трусливо:

– Чего надо? Кто такие?

Поскольку вместе с оперативниками в комнату вошел Воробьихин, вопрос его прозвучал фальшиво; парень, видно, сообразил это, сморщился, как от кислого, и сказал протяжно:

– Ну что вяжетесь? Нет за мной ничего, я в артели работаю...

– Одевайся, Шкандыбин, – тихо, зловеще сказал Жеглов. – Мы из МУРа...

– Вижу, что не из церкви. И чего вы ко мне липнете?

– Одевайся, тебе говорят, – еще тише сказал Жеглов, и я вдруг заметил, что сам испугался голоса своего шефа. Видимо, побоялся спорить и Шкандыбин – молча натянул штаны, обул щегольские сапоги гармошкой, взял со стула пиджак.

– А теперь скажи нам, друг ситный, где ружье, – спокойно предложил Жеглов.

– Нет у меня никакого ружья, – быстро ответил Шкандыбин. – Хоть весь дом обыщите!

– Обыщем, – пообещал Жеглов. – Но лучше сэкономь нам время – тебе же зачтется. Помоги, как говорится, следствию...

– Я сказал – нету. Ничего такого у меня в доме нет.

– Тараскин, присмотри за ним, – распорядился Жеглов. – А мы поищем...

Обыск еще продолжался, когда в комнату вошел Шесть-на-девять и молча положил перед Жегловым газету. Жеглов распорядился очистить стол, развернул на нем газету, и я увидел, что это старый номер «Вечерней Москвы» за второе сентября с дырочками от подшивки на полях. Жеглов погладил газету, спросил Шкандыбина равнодушно:

– «Вечернюю Москву» читаешь?

– На кой мне? – отозвался Шкандыбин. – Я папиросы курю.

– Понял, – сказал Жеглов, подошел к платяному шкафу, который я уже осматривал, и вытянул бельевого ящик. В ящике лежали рубашки, носки, майки. Жеглов, брезгливо оттопырив мизинец, вытащил их, достал из ящика застеленную на фанерном дне газету с грубо оборванным листом. – Сам газетку застилал или попросил кого?

– Сам, – сказал с удивлением Шкандыбин.

– Чудненько, – кивнул Жеглов, оглядел внимательно газету и, положив ее на стол, разгладил поверх «Вечерней Москвы». Я оторвался от этажерки, которую в это время осматривал, подошел к столу. Газета из ящика тоже была «Вечерней Москвой», а взглядевшись, я с удивлением обнаружил, что и она за второе сентября.

– Иди-ка сюда, Шкандыбин, смотри и слушай меня внимательно, – сказал Жеглов. – Вот эту газету я велел привезти

мне из редакции еще до обыска, она за второе сентября. У тебя из ящика мы добываем такую же газету, гляди, гляди. Так?

– Так, – хмуро кивнул Шкандыбин.

– Вот и спрашивается, каким же макарон я так в цвет попал, а?

– Не знаю, – пожал плечами Шкандыбин.

– Ты вот что, мил друг, плечиком не дергай, когда тебя Жеглов спрашивает. Ты думай и отвечай по делу!

– Да я, ей-богу, не знаю! – взмолился Шкандыбин, и было видно, что ему и в самом деле невдомек, как такое могло случиться. Не понимал пока и я, к чему ведет Жеглов.

– Ну, не знаешь – сейчас узнаешь, – пообещал Жеглов и кивнул Грише: – Давай сюда конверт!

Шесть-на-девять протянул Жеглову конверт, Жеглов вынул из него неровный клоч газетной бумаги.

– Видишь, бумажка эта была сильно смята, а потом разглажена, – сказал Жеглов. – Это мы ее разгладили. А до того, как мы ее разгладили, вот этот товарищ... – Жеглов показал на меня, – нашел ее в скомканном и слегка подпаленном виде под окном товарища Фирсова, тобою подстреленного...

Говоря все это, Жеглов примерял обрывок к верхней газете, к неровному ее краю. Когда наконец в одном месте обрывок аккуратно сошелся с краем, Жеглов довольно ухмыльнулся:

– Бумажечка скомканная – это пыж, дорогой мой гражда-

нин Шкандыбин, пыж из твоего ружьишка, которое мы теперь, несомненно, разыщем. Погляди, полюбуйся, как бумажечка к твоей газете подходит, – вот отсюда, с этого самого местечка, ты ее и оторвал, когда снаряжал свой поганый патрончик. Да не вышло – с МУРом, брат, шутки плохи!..

– Сколько скостят, если я ружье сам выдам? – глухо спросил Шкандыбин.

– А вот это уже мужской разговор. Я ж тебе с самого начала предлагал нам сэкономить время, – коротко всхрикнул Жеглов и уверенно закончил: – Треть, я думаю, скостят непременно, сам позабочусь!..

* * *

Стемнело совсем. За окном не переставая моросил мелкий слякотный дождик, в кабинете было холодно, у меня даже ноги замерзли, и, когда я сказал об этом, Жеглов рассмеялся: «Зато летом будет не жарко, с улицы раскаленной сюда вваливаешься, как в рай божий...» Это не слишком меня утешило, но отвлекаться было некогда – вызов следовал за вызовом, телефон звонил непрестанно.

– Я отлучусь ненадолго, – сказал Жеглов, одернул гимнастерку, причесался перед зеркалом, вделанным почему-то во внутреннюю дверцу сейфа, и испарился.

Не успели еще затихнуть его шаги в длинном коридоре, как зазвонил телефон.

Я снял трубку:

– Оперуполномоченный Шарапов слушает.

Докладывал дежурный из 37-го отделения:

– Явился к нам тут гражданин один, сам он строитель. Сегодня ремонтировали домишко на Воронцовской, и в стене, под штукатуркой, как drankу вырвали, тайник обнаружился, а в нем банка стеклянная... Алло...

– Слушаю, слушаю, – торопливо сказал я.

– Двадцать золотых десятков захоронено, николаевских...

– Ну?..

– Напарник этого гражданина – он же первый банку и вытащил – дал ему пять червонцев и велел помалкивать. А остальное золотишко себе забрал. Какие будут указания?

– А какие указания? – удивился я. – Брать надо этого шкурника с поличным, и все дела...

– Есть! – сказал дежурный и положил трубку.

И вот тут-то меня взяло сомнение: сегодня я уже не раз имел случай убедиться, что некоторые вещи, которые выглядели бесспорными и очевидными, с точки зрения уголовного розыска оказывались не такими уж простыми и требовали решений, вовсе не обязательно вытекавших из житейского опыта. Я еще подумал, что дежурный 37-го отделения не первый, наверное, день в милиции, а счел нужным запросить указаний, значит дело не представляется ему таким простым, как мне кажется... Я побряхтел немного и набрал номер нашего коммутатора, вызвал тридцать седьмое.

Дежурный отозвался немедленно.

– Алло, – сказал я натужно и покашлял. – Это Шарапов из МУРа, насчет золотишка...

– Сей секунд выезжаем, – отрапортовал дежурный.

– А ты погоди, – сказал я. – Тут, может, с кондачка решать не стоит. Я, понимаешь, человек здесь новый...

– Да-а? – радостно удивился дежурный. – Вот и я тоже новый, вторую неделю всего-то и дежурю, таких дел еще не встречалось! И начальства никакого, как на грех, нету...

– Вот и погоди, – степенно сказал я. – А то мы с тобой еще наворотим, чего, может, не надо. Я сейчас посоветуюсь, не отходи...

Я положил трубку на стол и пошел в соседний кабинет к Тараскину, который только что вернулся из ресторана «Москва», где две подвыпившие компании схлестнулись между собою в просторном вестибюле. Сейчас он, набычившись, вел душеспасительную беседу с ярко размализованной девицей, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Девица безутешно рыдала, а Тараскин строго отчитывал ее:

– Пришла с людьми – веди себя как положено. А то что же получается? Глазки посторонним строишь, можно сказать, авансы раздаешь, вместо того чтобы в свою, значит, тарелку глядеть...

– Тараскин, пошептаться бы, – сказал я. Это словечко – «пошептаться» – я услышал от Жеглова, и оно чем-то мне понравилось, потому что шептаться при людях всерьез вроде

неловко, а если сказать как бы в шутку, тогда ничего, можно.

– Котова, выйди в коридор на минуту, – сказал Тараскин девице, та мгновенно перестала рыдать, поднялась, и я с изумлением увидел, что ее нарядное платье располосовано чуть ли не до пояса, а в руках толстая красивая коса, видать накладная, вырванная из прически в драке.

Я торопливо изложил суть вопроса, и Тараскин, ни на секунду не задумываясь, продекламировал, явно подражая жегловским интонациям:

– Сокровище, то есть клад, сокрытый в земле или в стене, есть единая и неделимая собственность государства. Как таковая, подлежит обязательной сдаче органам власти за вычетом вознаграждения нашедшему. Присвоение клада карается по закону. – Тараскин передохнул и сказал уже обычным своим голосом: – Указание ты, Шарапов, дал правильное, нас – в масштабе МУРа – это происшествие не касается. Продолжай в том же духе. Эй, Котова, заходи!..

Я закончил разговор с дежурным и вернулся к методическому письму по криминалистике, в котором излагались неотложные действия следователя в случае обнаружения фактов незаконного пользования знаками Красного Креста и Полумесяца. К тому времени, когда я освоил методику расследования этого преступления, пришел Жеглов – свежевыбритый, благоухающий одеколоном «Кармен», сверкающий белоснежным полотняным подворотничком. Он открыл сейф, снова покрасовался перед засекреченным зер-

калом, явно остался собою доволен, поскольку, захлопывая дверцу, запел, сильно фальшивя: «Первым делом, первым делом самолеты... Ну а девушки? А девушки потом...» Прошелся, скрипя блестящими сапогами, по кабинету, остановился передо мною:

– Ну что, друг ситный? Служим?

– Служим, – невозмутимо сказал я.

– А тем временем у Ляховского «эмку» украли.

– Чего? – спросил я. – Какую «эмку»?

– Обыкновенную. Легковой лимузин М-1, довоенная цена девять тысяч рублей. Не в том дело...

– А в чем?.. – не понял я.

– А в том, у *кого* украли. Герой, орденосец, летчик Ляховский – знаешь?

– О-о! Я сразу и не сообразил. Как же это получилось?

– Очень просто...

Зазвонил телефон. Дежурный сообщил Жеглову, что на Масловке, около «Динамо», горит одноэтажный дом.

– Деревянный? – переспросил Жеглов. – Сильно горит?

Дежурный подтвердил, что дом деревянный и горит сильно.

– Пока доедем, сгорит, значит, совсем, а?

Дежурный подтвердил и это.

– Значитца, так, – сказал Жеглов. – Пока криминала не видно, нам там делать нечего: пусть занимается доблестная пожарная охрана...

– Да я что, – сказал дежурный. – Я так, к сведению...

– Ну бывай...

Жеглов положил трубку и сказал мечтательно:

– Была у начальства одна мысль толковая – разделить службы, чтобы карманниками один отдел занимался, домушниками – другой, аферистами, там, валютчиками – третий, бандитами, вот как наш, – четвертый... Ан нет, всякую мелочь на тебя валят, нет времени про главное подумать...

– Так у нас и есть ОББ – отдел борьбы с бандитизмом? – удивился я. – Так или нет?

– Так, да не так. Сам видишь, чем занимаешься.

– Вижу, – сказал я. – Но ведь дежурство сегодня. И потом, бандиты небось не в парниках выводятся. Они, я полагаю, с другими всякими жуликами связаны, помельче...

Жеглов изогнул соболиную бровь:

– Ну-ка, ну-ка...

– Я к чему веду? – немного смущенно сказал я. – Ведь вот на фронте, скажем, артиллеристы, пехота, разведка, ну и так далее – они в полном контакте действуют: артиллерия огоньку подбросит, пехота живой силой поддержит, разведка сведения доставит... А враг и там разнообразный – и мелочь всякая бывает, ну вроде, скажем, карманников, и крупный зверь водится, – например, помню, отборная егерская часть против нас стояла, действительно головорезы, их в одиночку, как говорится, голыми руками, не возьмешь.

Жеглов поставил ногу на стул, подтянул щегольской са-

пог, чтоб не морщил, одобрительно оглядел его, сказал:

– Ты вот представь, что тебя, вместо того чтобы за егем-головорезом послать, в тыл за сапогами направили, а?..

– А что? И такое бывало, подобное, – невозмутимо сказал я. – Солдат без сапог – не солдат, личный состав должен быть одет, обут, накормлен и так далее. Не все же на переднем крае геройствовать... Карманник, я так понимаю, он тоже людям здорово настроение портит.

– Ох и каша у тебя в голове! – ухмыльнулся Жеглов. – И главное, на всякий случай теория. На фронтовом, так сказать, опыте...

Я хотел возразить, но снова зазвонил телефон, и Жеглов, выслушав, объяснил собеседнику, не особенно стесняясь в выражениях, что тот звонит в МУР, который не то что игнорирует кражи голубей из отдельно взятых голубятен, а имеет некоторые свои, *специфические* задачи по искоренению особо тяжких преступлений, тогда как отделения милиции на то и существуют, чтобы оперативно разбираться с фактами местного масштаба.

– ...А то вы скоро совсем мышей перестанете ловить. – Жеглов искоса глянул на меня, и я понял, что лекция предназначалась главным образом мне.

Рассудив, что еще успею вернуться к спорному вопросу, я спросил:

– Так что с «эмкой» Ляховского?

– А-а, с «эмкой»... Заехал он, значит, домой переодеть-

ся...

Дверь отворилась, заглянул дежурный:

– Жеглов, на выезд! Квартирная кража в Печатниковом переулке...

* * *

Закончили дела около трех часов ночи. Однако в коридорах Управления людей не только не стало меньше, чем днем, но, пожалуй, суета еще усилилась. Во всех кабинетах горел свет, сновали туда и обратно сотрудники в форме и в штатском, конвойные милиционеры без конца водили задержанных воров, спекулянтов, изо всех дверей доносился булькающий гул голосов, а из крайнего кабинета раздавался истошный завывающий вопль грабителя Васьки Колодяги, симулирующего эпилептический припадок. Я был еще в дежурной части, когда привезли Колодягу и он начал заваривать волынку.

Я пошел в туалет, открыл водопроводный кран и долго с фырканием и сопением умывался, и мне казалось, что ледяные струйки, стекающие за воротник, хоть немного смывают с меня невыносимый груз усталости сегодняшнего долгого дня. Потом расчесал на пробор волосы – в зеркале они казались совсем светлыми, почти белыми, и дюралевая толстая расческа с трудом продиралась сквозь мои вихры, – утерся носовым платком и пошел к Жеглову.

Видать, даже его за последние двое суток притомило. Он сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в какую-то бумагу, но со стороны казалось, будто написана она на иностранном языке, – так напряженно всматривался он в текст, пытаясь проникнуть в непонятный смысл слов. Я подошел к столу, он поднял на меня ошалелые глаза, сказал:

– Все, Володя, конец, отправляйся спать. Завтра с утра ты мне понадобишься – молодым и свежим!

– А ты что?

– Вон на диване сейчас лягу. Мне в общежитие на Башиловку ехать нет смысла. А ты-то где живешь?

– На Сретенке.

– Молоток! Хорошо устроился.

– Пошли ко мне спать. Тут тебе и вздремнуть не дадут – вон гам какой стоит!

– Ну, на гам, допустим, мне наплевать с высокой колокольни. Кабы дали, я бы под этот гам часов тридцать и глаз не открыл. Но дома спать лучше. А у тебя душ есть?

– Есть. Да что толку – воду в колонке надо подогревать.

– Это мне начхать, и холодной помоюсь. В общежитии неделю никакой воды нет. А на твоей жилплощади кто еще проживает?

– Я один, место есть. Выделю тебе шикарный диван.

Жеглов отворил сейф, достал оттуда и протянул мне три книжки:

– Возьми их и читай каждую свободную минуту – это сей-

час твой университет. Вложи в них чистый лист бумаги и все, что тебе непонятно, записывай, потом спросишь. А коли дома читать будешь, хотя на это надежды мало, в тетрадочку конспектируй...

На дне сейфа он отыскал еще две плоские банки консервов, засунул в карманы пиджака и стал одеваться, а я листал книжечки. «Уголовный кодекс РСФСР», «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», «Криминалистика». Кодексы были небольшого формата, толстенные, с бесчисленным количеством статей, и в каждой много пунктов и параграфов, я прямо ужаснулся при мысли, что все их надо выучить наизусть. В «Криминалистике» хоть, по крайней мере, было много картинок, но все они тоже были невеселые: фотографии повешенных, зарезанных, слепки следов, обрезки веревков и проводов, наверное висельных, изображения разных марок пистолетов, всевозможных ножей, кастетов, какие-то схемы и таблицы.

– Пошли? – спросил Жеглов.

Я рассовал книжки по карманам и, направляясь к двери, сказал:

– Слушай-ка, Жеглов, неужели ты все это запомнил?

– Ну, более-менее запомнил – нам без этого никак нельзя. Закон точность любит, на волосок сойдешь с него – кому-то серпом по шее резанешь.

– А ты где учился? Что закончил?

Жеглов засмеялся:

– Девять классов и три коридора. Когда не курсы в институте заканчиваешь, а живые уголовные дела, то она – учеба – побыстрее движется. А вот разгребем с тобой эту шваль, накипь человеческую, тогда уж в институт пойдем, дипломированными юристами будем. Знаешь, как называется наша специальность?

– Нет.

– Правоведение! Вот так-то!

– Ну, пока еще из меня правовед...

– Запомни, Шарапов, главное в нашем деле – революционное правосознание! Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность у тебя должна быть революционная, комсомольская! Вот эта сознательность и должна тебя вести, как компас, в защите справедливости и законов нашего общества!..

На лестнице было пусто и сумрачно, и от этого слова Жеглова звучали очень громко; гулко перекатывались они в высоких пролетах, и со стороны могло показаться, что Жеглов говорит с трибуны перед полным залом, и я невольно оглянулся посмотреть, не идет ли следом за нами толпа молодых сотрудников, которым усталый, возвращающийся с дежурства Жеглов решил дать пару напутственных советов.

Мы зашли в дежурку, где сейчас стало потише и Соловьев пил чай из алюминиевой кружки. Закусывал он куском черного хлеба, присыпанного желтым азиатским сахарным песком.

Жеглов написал что-то в дежурном журнале своим четким прямым почерком, в котором каждая буква стояла отдельно от других, будто прорисовывал он ее тщательно тоненьким своим перышком «рондо», хотя на самом деле писал он очень быстро, без единой пометки, и исписанные им страницы не хотелось перепечатывать на машинке. И расписался – подписью слитной, наклонной, с массой кружков, крючков, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком, и мне показалась она похожей на свившуюся перед окопами «спираль Бруно».

– Ну, Петюня, прохлаждаешься? – протянул он, глядя на Соловьева, и я подумал, что Глебу Жеглову, наверное, досадно видеть, как старший лейтенант Соловьев вот так празднично сидит за столом, гоняя чай с вкусным хлебом, и нельзя дать ему какое-нибудь поручение, заставить сделать что-нибудь толковое, сгонять его куда-нибудь за полезным делом – совсем бессмысленно прожигает сейчас жизнь Соловьев.

Рот у дежурного был набит до отказа, и он промычал в ответ что-то невразумительное. Жеглов блеснул глазами, и я понял, что он придумал, как оправдать бестолковое ночное существование Соловьева.

– А откуда у тебя, Петюня, такой распрекрасный сахар? Нам такой на карточки не отоваривали! Давай, давай колись: где взял сахар? – При этом Жеглов смеялся, и я не мог сообразить, шутит он или спрашивает всерьез.

Соловьев наконец проглотил кусок, и от усердия у него

слезы на глазах выступили.

– Чего ты привязался – откуда, откуда? От верблюда! Жене сестра из Коканда прислала посылку! Человек ты въедливый, Жеглов, как каустик!

Жеглов уже отворял один из ящиков его стола, приговаривая:

– Петюня, не въедливый я, а справедливый! Не всем так везет – и главный выигрыш получить, и золотку иметь в Коканде! Вот у нас с Шараповым родни – кум, сват и с Зацепы хват; и выигрываю я только в городки, поэтому мы с трудов праведных и чаю попить не можем. Так что ты уж будь человеком, не жадись и нам маленько сахарку отсыпь...

Соловьев, чертыхаясь, отсыпал нам в кулек, свернутый из газеты, крупного желтого песка, и, пока он был поглощен этим делом, понукаемый быстрым жегловским баритончиком: «Сыпь, сыпь, не тряс руками, больше просыплешь на пол», Жеглов вынул из кармана складной нож с кнопкой, лезвие из ручки цевкой брызнуло, быстро отрезал от соловьевской краюхи половину и засунул в карман.

Соловьев сердито сказал:

– Знаешь, Жеглов, это уже хамство! Мы насчет хлеба не договаривались...

– Мы насчет сахара тоже не договаривались, – засмеялся Жеглов. – Скаредный ты человек, Петюня, индивидуалист, нет в тебе коллективистской жилки. Нет чтобы от счастья своего, дуриком привалившего, купить отделу штук сто ба-

тонов коммерческих! Комсомольская организация с тобой недоработала, надо будет им на это указать!

– Ты на себя лучше посмотри! – недовольно пробормотал Соловьев. – Вместо того чтобы спасибо сказать, оскорбил еще...

– Вот видишь, Петюня, и с чувством юмора у тебя временные трудности. Нет чтобы добровольно поделиться с проголодавшимися после тяжелой работы товарищами...

– А я тут что, на отдыхе, что ли? – спросил Петюня и улыбнулся, и я видел, что вся его сердитость уже прошла и что удалство и нахрапистость Жеглова ему даже чем-то нравятся – наверное, глубинным сознанием невозможности самому вести себя таким макарон, чтобы чужой хлеб располовинить и тобой же довольны остались.

– У тебя, Петюня, работа умственная, на месте, а у нас работа физическая, целый день на ногах, так что нам паек должны были бы давать побольше. А засим мы тебя обнимаем и пишем письма – пока! Да, чуть не забыл, утром придет Иван Пасюк, скажи ему, чтобы никуда не отлучался, он мне понадобится...

В дверях я оглянулся и увидел, что на круглом веснушчатом лице Соловьева плавает благодушная улыбка и покачивает он при этом слегка головой с боку на бок, словно хочет сказать: ну и прохвост, ну и молодец!..

На улице сразу прохватило мокрым, очень резким ветром, и мы шли к бульвару, наклоняясь вперед, чтобы ветром не

сорвало кепки. На полдороге к Трубной площади нас догнал какой-то шальной ночной трамвай, пустой, гулкий, освещенный внутри неприятными дифтеритно-синими лампами. На ходу вскочили на подножку, и до самой Сретенки Жеглов лениво любезничал с молоденькой девчонкой-вагоновожатой.

Вошли ко мне, я щелкнул выключателем, и Жеглов быстро окинул комнату глазом – от двери до окна, от комода до кровати, словно рулеткой промерил, – потом, не снимая плаща, устало сел на стул и сказал довольно:

– Хоромы барские. Как есть хоромы. В десяти минутах ходу от работы. Ты не возражаешь, я у тебя поживу немного? А то мне таскаться на эту Башиловку проклятушую, в общежитие – душа из него вон, – просто мука смертная! Времени и так никогда нет, а тут как дурак полтора часа в день коту под хвост. Значитца, договорились?

– Договорились, – охотно согласился я. Жить вместе с Жегловым будет гораздо веселее, да и вообще Жеглов казался мне человеком, рядом с которым можно многому научиться.

– Ты как насчет того, чтобы подзаправиться перед сном? – спросил Жеглов. – У меня кишка кишке фиги показывает.

Я отправился в кухню ставить чайник, а Жеглов выложил на стол кулек с сахаром, краюху хлеба, банки с американским «ланчен мит». На днищах ярких жестяных коробочек были припаяны маленькие ключики. Жеглов крутил ключик, сматывая на него ленту жести быстро и в то же вре-

мя осторожно, и оттого что держал он банку перед глазами, мне казалось, что он заводит мудреные часы и следит внимательно, чтобы, не дай бог, не перекрутить пружину, иначе часы сломаются навсегда. Но Жеглов справился с пружиной хорошо – звякнула крышка, и он выдавил на тарелку кусок неестественно красного консервированного мяса, которое видом и запахом не похоже было ни на какие наши консервы.

– Говорят, их американцы из китового мяса делают специально для нас. – Я зачарованно глядел на мясо и чувствовал, как слюна терпкой волной заполняет рот.

– Уж наверное не из парной говядины, – мотнул головой Жеглов. – Они говядинку сами жрать здоровы. Ух и разжиреет на нашей беде мировой империализм! Нам кровь и страдания в войне, а им барыши в карман!

– Это как водится, – кивнул я, с наслаждением глотая очень вкусные консервы. – Мы им в июле в городке Обермергау передавали «студебеккеры», что по ленд-лизу за нами числились. Так они их требовали в полном порядке и комплекте, без гайки одной – не примут. А потом они их на наших глазах прессом давили. Свинство!

– Во-во! А у нас в деревнях бабы на себе да на коровах пашут, мать мне недавно отписала, как они там вкалывают, хозяйство поднимают. Да ничего, погоди маленько, понастроим своих машин, получше их «студеров». Будет еще такая пора, это я тебе, Шарапов, точно говорю: каждый трудящий-

ся сможет зайти в универмаг и купить себе лимузин. Ты-то сам в автомобилях смекаешь? Любишь это дело?

– Очень! Для меня машина – как существо живое, – сказал я.

– Ну, тогда будет тебе со временем машина, – пообещал твердо Жеглов и распорядился: – Давай волокни сюда чайник... Очень вкусная китятина, ничего не скажешь...

Выпили сладкого чая, который от желтого песка чуть-чуть припахивал керосином, съели толстые ломти бутербродов. Жеглов встал, хрустко потянулся, сказал:

– Я на диване спать буду, не возражаешь?

Быстро разделись, улеглись, и я обратил внимание, что Жеглов совершенно автоматическим жестом вынул из кобуры пистолет – черный длинный парабеллум – и сунул его под подушку.

Уже в темноте, умываясь под одеялом, я сказал:

– А хорошо ты сегодня отработал Шкандыбина...

– Это которого? Того болвана, что из ружья пальнул?

– Ну да! Как-то все у тебя там получилось складно, находчиво, быстро. Понравилось мне! Вот бы так научиться!

– Научишься. Это все не дела – это семечки. Тебе надо главное освоить: со свидетелями работать. Поскольку в нашем ремесле самое ответственное и трудное – работа со свидетелями.

– Почему? – Я приподнялся на локте.

– Потому что, если преступника поймали за руку, тебе и

делать там нечего. Но так редко получается. А главный человек в розыске – свидетель, потому что в самом тайном дележке всегда отыщется человек, который или что-то видел, или слышал, или знает, или помнит, или догадывается. А твоя задача – эти сведения из него вытрясти...

– А почему же ты умеешь добывать эти сведения, а Коля Тараскин не умеет?

Темнота прошелестела смехом.

– Потому что, во-первых, он еще молодой, а во-вторых, не знает шесть правил Глеба Жеглова. Тебе, уж так и быть, скажу.

– Сделай милость. – Я заранее заулыбался, полагая, что он шутит.

– Запоминай навсегда, потому что повторять не стану. Первое правило, это как «Отче наш»: когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Первейшее это условие, чтобы нравиться людям, а оперативник, который свидетелю влезть в душу не умеет, зря рабочую карточку получает. Запомнил?

– Запомнил. Вот только щербатый я слегка – это ничего?

– Ничего, даже лучше, от этого возникает ощущение простоватости. Теперь запомни второе правило Жеглова: умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом. А как следует разговаривать человека о нем самом, знаешь?

– Трудно сказать, – неуверенно пробормотал я.

– Вот это и есть третье правило: как можно скорее найди

в разговоре тему, которая ему близка и интересна.

– Ничего себе задачка – найти интересную тему для незнакомого человека!

– А для этого и существует четвертое правило: с первого мига проявляй к человеку искренний интерес, – понимаешь, не показывай ему интерес, а старайся изо всех сил проникнуть в него, понять его, узнать, чем живет, что из себя представляет; и тут, конечно, надо напрячься до предела. Но коли сможешь, он тебе все расскажет...

Голос Жеглова, мятый, сонный, постепенно затухал, пока не стих совсем. Он заснул, так и не успев рассказать мне остальных правил. Спал он совершенно неслышно – не сопел, не ворочался, со сна не говорил, ни единая пружинка в стареньком диване под ним не скрипела, – и, погружаясь в дрему, я успел подумать, что так, наверное, спят – беззвучно и наверняка чутко – большие сильные звери...

* * *

РОЗНИЧНЫЕ СКЛАДЫ МОСГОРТОПСНАБА ПОЛНЫ ДРОВ

Москвичи могут получать топливо без спешки, без опасения, что его не хватит. Однако вполне естественно, что каждый покупатель дров не хочет

откладывая это дело, – наступают холода. Поэтому на складах сейчас царит оживление...

«Вечерняя Москва»

Первые дни работы в МУРе ошеломили меня количеством событий, людей, тем потоком человеческих горестей и бед, которые суждено отныне мне разбирать, устанавливать, решать и возмещать. Мои туманные представления о работе уголовного розыска были в один день уничтожены – романтики в охране справедливости и людской безопасности было совсем мало, а был изнурительный труд, бессилие незнания, неловкость от ощущения своей бесполезности, обузности для бригады. И еще опасение, что мне никогда не обрести бронебойной хитрости и цепкости Жеглова, неспешной, но всегда неожиданной сметливости Пасюка, настырной энергичности Тараскина...

Но прошел еще один день, за ним – следующий, потом закончилась неделя без выходного, и эти мысли как-то сами по себе ушли: для них просто не оставалось времени, целый день на работе не было ни минуты свободной, а когда за полночь мы возвращались с Жегловым домой на Сретенку, то не оставалось сил даже чаю выпить – камнем падал я в глухой, вязкий, как нефть, без сновидений сон, чтобы вынырнуть из него полуоглушенным от глубокого забытья под душераздирающий треск старого будильника, подаренного мне Михал Михалычем.

Жеглов уже подружился со всеми обитателями кварти-

ры. Шурка Баранова смотрела на него с восхищением, потому что он был не только «исключительно представительной внешности», но и сумел уговорить ее мужа – пьяницу и скандалиста Семена. В первый же раз, как только Семен напился и начал безобразничать, Жеглов вышел на шум в коридор, каким-то перехватывающе-мягким движением вывернул ему руку, плавно усадил в очень неудобной позе на пол и сказал негромко, но внятно – Семен-то его наверняка понял:

– Еще раз хвост поднимешь – услышу я, или Шурка пожалуется, что ты ее лупил, – в тот же миг я тебя посажу. Ты, черт гугнивый, уже года полтора на свободе лишнего ходишь.

То ли тихий и злой голос Жеглова подействовал, то ли унижительность положения, в которое он так мгновенно и легко был приведен, – во всяком случае, Семен, даже напившись, воздерживался буянить.

Другим соседям Жеглов нравился за аккуратность и чистоплотность – по утрам он влезал в ванну и поливался из душа ледяной водой, оглушительно ухая, крикая и даже подвизгивая от удовольствия и холода. Потом он выходил на кухню и, пока заваривался кофе или вскипал чайник, ставил длинную стройную ногу на табурет и наводил окончательно солнечное сияние на свои хромовые офицерские сапоги. Он еще даже и рубашки на голубую майку не натягивал, а пистолет был уже в кобуре на поясе его галифе. И соседи ко-

сились на кобуру опасно и уважительно, и вообще он им был сильно симпатичен: хоть и был он явно большой начальник, но все-таки простой и к ним, людям маленьким, вполне снисходительный и даже доступный – мог пошутить или из своей необыкновенной жизни рассказать что-нибудь поучительное и интересное.

Один лишь Михал Михалыч держался с Жегловым как-то отчужденно, сталкиваясь с ним на кухне или в коридоре, бормотал:

– ...Люди, которые повстречали меня на своем пути...

Или что-нибудь совсем малопонятное:

– ...К звездам идут через тернии, но не мимо них... – Наверное, придумывал свои малоформатные шутки.

Всем же остальным соседям Жеглов был по душе. Не было в нем зазнайства или какого-то особого воображения о себе – так и объясняли мне соседи о моем приятеле, и мне нравилось, что так все вышло.

А двадцать первого числа, собираясь утром на работу, Жеглов сказал:

– Ну, Володя, сегодня все дела надо кончить пораньше...

– Почему? – удивился я, хотя и не возражал кончить дела пораньше.

– Сегодня «день чекиста» – получка. А для тебя она в МУ-Ре первая, вот мы и обмоем тебя по всем правилам...

Но закончить в этот день дела пораньше нам не удалось, и обмыть мою первую зарплату мы тоже не смогли, потому что,

собственно говоря, и не получили ее тогда, и я даже не представлял, какое значение будет для всей моей жизни иметь этот пасмурный сентябрьский день, и уж тем паче не подзревал, какое он окажет влияние на наши взаимоотношения с Жегловым...

И произошло все потому, что убили в тот день Ларису Груздеву. Вернее, убили ее накануне, а нам только сообщили в этот день, и эксперт так и сказал:

– Смерть наступила часов восемнадцать-двадцать назад, то есть вчера вечером...

Когда мы вошли в комнату, то через плечо Жеглова я увидел лежащее на полу женское тело, и лежало оно неестественно прямо, вытянувшись, ногами к двери, а головы мне было не видать, голова, как в детских прятках, была под столом, и одной рукой убитая держалась за ножку стула.

Глухо охнула у меня над ухом, зашлась криком девушка – сестра убитой. «Надя», – сказала она, протягивая Жеглову ладошку пять минут назад, когда мы поднялись уже по лестнице, чтобы вскрыть дверь, из-за которой со вчерашнего дня никто не откликался. Надя оттолкнула меня, рванулась в комнату, но Жеглов уже схватил ее за руку:

– Нечего, нечего вам там делать сейчас! – И, даже не обернувшись, крикнул: – Гриша, побудь с женщиной на кухне!..

А та враз обессилела, обмякла и без сопротивления дала фотографу отвести себя на кухню; ослабевшие ноги не держали ее, и она слепо, не глядя, осела на стул, и крик ее стих,

и только булькающие судорожные рыдания раздавались сейчас в пустой и безмолвной квартире.

Из ее объяснений на лестнице я понял, что Надя живет с матерью, а здесь квартира ее сестры Ларисы и они договорились созвониться; она звонила ей вчера весь вечер, никто не снимал трубку, и сегодня никто не отвечал, и она стала сильно беспокоиться, поэтому приехала сюда и с улицы увидела, что на кухне горит свет – а с чего ему днем гореть?..

Дверь вскрыли, вошли в прихожую, тесную, невразворот, и с порога я увидел голые молочно-белые ноги, вытянувшиеся поперек комнаты к дверям. Задрался шелковый голубой халатик, и мне было невыносимо стыдно смотреть на эти зачоченевшие стройные ноги, словно убийца заставил меня невольно или вольно принять участие в каком-то недостойном действе, в противоестественном бессовестном разглядывании чужой, бессильной и беззащитной женской наготы посторонними мужиками, которым бы этого вовек не видеть, кабы убийца своим злодейством уже не совершил того ужасного, перед чем становятся бессмысленными и ненужными все существующие человеческие запреты, делающие людей в совокупности обществом, а не стадом диких животных.

Жеглов вошел в комнату, он на мгновение остановился около расprostертого на полу тела, будто задумался о чем-то, затем гибко, легко опустился на колени, заглянув под стол, и со стороны казалось, что он согласился поиграть в эти ужасные прятки и скажет сейчас: «Вылезай, мы тебя увиде-

ли», но Жеглов повернулся к нам и сказал эксперту:

– Пулевое ранение в голову. Приступайте, а мы пока оглядимся... Тараскин, понятых, быстро. А потом по всем соседям подряд – кто чего знает...

Мне казалось невозможным что-то делать в этой комнате – ходить здесь, осматривать обстановку, записывать и фотографировать, – пока убитая лежит обнаженной, и я наклонился, чтобы одернуть на ней халат, но Жеглов, стоявший, казалось, ко мне спиной, вдруг резко бросил, ни к кому в отдельности не обращаясь, но я сразу понял, что он кричит это именно мне:

– Ничего руками не трогать! Не прикасаться ни к чему руками...

Я выпрямился, пожал плечами и, чтобы скрыть смущение, уставился на стол, накрытый к чаепитию. На чашке с чаем, чуть начатой, остался еле видный след губной помады, и вдруг резкой волной ощутил я неодолимый приступ тошноты. Я быстро вышел на кухню и стал пить холодную воду, подставив рот прямо под струю из крана; вода брызгала в лицо, и тошнота ослабла, потом совсем прошла, осталось лишь небольшое головокружение и невыносимое чувство неловкости и вины. Я понимал, что приступ вызвал у меня вид мертвого тела, и сам в душе подивился этому: за долгие свои военные годы я повидал такого, что давно должно было приглушить чувствительность, тем более что особенно чувствительным я вроде и сроду не был. Но фронтовая смерть

имела какой-то совсем другой облик. Это была смерть военных людей, ставшая за месяцы и годы по-своему привычной, несмотря на всегдашнюю неожиданность. Не задумываясь над этим особенно глубоко, я ощущал печальную, трагическую закономерность войны – гибель многих людей. А здесь смерть была ужасной неправильностью, фактом, грубо вопиющим против закономерности мирной жизни; само по себе было в моих глазах парадоксом то, что, пережив такую бесконечную, такую смертоубийственную, кровопролитную войну, молодой, цветущий человек был вычеркнут из жизни самоуправным решением какого-то негодая...

На кухне громко звучало радио – черная тарелка репродуктора тонко позванивала, резонируя с высоким голосом Нины Пантелеевой, старательно вытягивавшей верха «Тальяночки». Надя, прижимая платок к опухшему от слез лицу, протянула руку, чтобы повернуть регулятор репродуктора. Неожиданно для себя я взял девушку за руку:

– Не надо, оставьте, Наденька, пусть все будет... это... как было...

В кухню заглянул Жеглов:

– Надюша, мне надо вас расспросить кой о чем...

Девушка покорно кивнула.

– Чем занималась ваша сестра?

Надя судорожно вздохнула, она изо всех сил старалась не плакать, но из глаз ее снова полились слезы.

– Ларочка была очень талантливая... Она стать актрисой

мечтала... Ей после школы поступить в театральное училище не удалось, это знаете как трудно... Но она занималась все время, брала уроки...

– И не работала?

– Нет, работала. Она устроилась в драмтеатр костюмершей, у нее ведь вкус прекрасный... Ну и училась каждую свободную минуту... Все роли наизусть знала...

Я вспомнил трофейный фильм, который недавно видел: злобредная зазнавшаяся актриса, пользуясь своим влиянием, не допускает талантливую соперницу на сцену. Но перекапризничала однажды и не пришла в театр; режиссер вынужден дать роль девушке, работающей в театре невесть кем – парикмахершей, что ли, – и та блестящей игрой покоряет всех: и труппу, и режиссера, и публику... Цветы, овации, злые слезы поверженной актрисы... Вот и эта бедняга мечтала, наверное, как однажды ее вызовут из костюмерной и попросят сыграть главную роль вместо заболевшей заслуженной артистки.

– А муж ее кто? – спросил Жеглов.

Надя замаялась.

– Видите ли... Они с мужем разошлись.

– Да? – вежливо переспросил Жеглов. – Почему?

– Как вам сказать... – пожала плечами Надя. – Женились по любви, три года жили душа в душу... а потом пошло как-то все вкривь и вкось.

– Ага, – кивнул Жеглов. – Так почему все-таки?

– Понимаете, сам он микробиолог, врач... Ну... не нравилось ему Ларочкино увлечение театром... то есть, по правде говоря, даже не совсем это...

– А что?

– Понимаете, театральная жизнь имеет свои законы... свою, ну, специфику, что ли... Спектакли кончаются поздно, часто ужины... цветы...

– Поклонники, – в тон ей сказал Жеглов. – Так, что ли?

– Ну, наверное... – неуверенно согласилась Надя. – Нет, вы не подумайте, ничего серьезного, но Илья Сергеевич не хотел понимать даже самого невинного флирта...

– М-да, ясно... – сказал Жеглов, а я прикинул, что даже легкий флирт мне лично тоже был бы не по душе.

– Ну вот, – продолжала девушка. – Начались ссоры, дошло до развода...

– Они развелись уже? – деловито спросил Жеглов.

– Нет, не успели. Понимаете, Ларочка не очень к этому стремилась, а Илья не настаивал, тем более... – Надя запнулась.

– Что «тем более»? – резко спросил Жеглов. – Вы поймите, Наденька, я ведь не из любопытства вас расспрашиваю. Мне-то лично все ихние дела ни к чему! Я хочу ясную картину иметь, чтобы поймать убийцу, понимаете?

– Понимаю, – растерянно сказала Надя. – Я ничего от вас не скрываю... Видите ли, Илья Сергеевич нашел другую женщину и хотел на ней жениться. А Ларочке это было

неприятно, в общем, хотя она его и разлюбила, и разошлись они...

Из комнаты выглянул Иван Пасюк, увидел Жеглова, подошел:

– Глеб Георгиевич, от такую бумаженцию в бухвете найшов, подывытесь. – И протянул Жеглову листок из записной книжки. На листке торопливым почерком авторучкой было написано: «Лара! Почему не отвечаешь? Пора решить наконец наши вопросы. Неужели так некогда или у тебя нет бумаги? Решай, иначе я сам все устрою...» И неразборчивая подпись.

Жеглов еще раз прочитал записку, аккуратно сложил ее и спрятал в планшет, кивнул Пасюку:

– Продолжайте. – И повернулся к Наде. – Так-так. Дальше.

– Да что дальше? Все, – вздохнула Надя.

– Вы кого-нибудь подозреваете? – спросил Жеглов.

– Нет, боже упаси! – воскликнула девушка, подняв к лицу, как бы защищаясь, руки. – Кого же я могу подозревать?

– Ну, хотя бы Груздева Илью Сергеевича, – раздумчиво сказал Жеглов. – Ведь, если я правильно вас понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой... А?

– Что-о вы! – выдохнула с ужасом Наденька. – Илья Сергеевич хороший человек, он не способен на... на такое!..

– Ну-у, разве так вот сразу скажешь, кто на что способен?.. Это вы еще в людях разбираетесь слабо... – протянул Жеглов, и я увидел, как вцепились выпуклые коричневые гла-

за его в Наденькино лицо, как полыхнул в них огонек, уже раз виденный мною в Перовской слободке, когда брал Жеглов Шкандыбина, выстрелившего в соседа из ружья через окно... – У них, у Ларисы с Груздевым то есть, какие сложились отношения в последнее время?

– Отношения известно какие... – сказала Наденька медленно. – Известно, какие отношения, когда люди разводятся.

– Ну вот видите! – сказал Жеглов. – Значитца, так и запишем: плохие отношения.

Но Наденька почему-то заупрямилась, не соглашаясь с выводом Жеглова.

– Конечно, их отношения хорошими не назовешь, – сказала она. – Но Ларочка еще совсем недавно при мне говорила Ире – это приятельница ее по театру, – что интеллигентные люди и расходятся по-интеллигентному: тихо, мирно и вежливо. Илья Сергеевич деньги Ларочке давал, продукты, за квартиру оплачивал...

– А чья квартира? – сразу же спросил Жеглов.

– Квартира его была, Ильи Сергеевича. А когда разошлись, Илья Сергеевич решил, что Ларе неудобно к маме возвращаться, да и тесно там – мы с ней на двенадцати метрах живем...

– И что?..

– Но ему самому тоже деваться некуда, он пока в Лосинке комнатку с террасой у одной бабки снимает. Решили эту квартиру на две комнаты в общих разменять.

– Па-анятно... – протянул Жеглов, и я видел, что какая-то мыслишка плотно засела у него в голове. Жеглов спросил Наденьку, где работает Груздев, и отправил за ним милиционера, наказав ничего Груздеву не сообщать, объяснить только, что какая-то в его доме произошла неприятность. Потом достал из планшетки записку, которую нашел Пасюк, показал ее Наденьке:

– Вам эта рука не знакома?

Наденька прочитала записку, помедлила немного, сказала:

– Это Илья Сергеевич писал...

Не глядя на записку, Жеглов сказал:

– «...Решай, иначе я сам все устрою...» Это он насчет чего, как думаете?

– Я думаю, насчет обмена. Илья Сергеевич нашел вариант, но Ларочке он не очень нравился, и она... ну, никак не могла решиться.

– А сама она не занималась обменом? – спросил Жеглов.

– Не-ет... Вы не знали Ларочку... Она была такая непрактичная... – Наденька судорожно всхлипнула.

– А... мм... скажите... – начал Жеглов медленно, и по лицу его, по сузившимся вдруг глазам я понял, что он напал на какую-то новую мысль. – Скажите, это был первый вариант обмена или...

– Честно говоря, нет, не первый, – сказала Наденька просто. – Илья Сергеевич уже несколько комнат хороших на-

ходил, сами понимаете, на отдельную квартиру желающих много...

– Понятно... – протянул Жеглов и принялся заново разглядывать записку, он даже подальше от глаз ее отставил, как это делают дальнорзоркие люди, хотя дефектами зрения, безусловно, не страдал. – Угрожает он в этой записочке, как вы считаете?

– Да что вы... – начала Наденька, но в это время на лестничной клетке раздался топот, и Жеглов перебил ее:

– Вы не торопитесь, подумайте... Мы еще потолкуем попозже... А пока, я вас попрошу, походите по квартире, осмотритесь, все ли вещи на месте, не пропало ли что – это очень важно...

Хлопнула входная дверь, и в квартире сразу стало многолюдно: приехал следователь прокуратуры Панков, а за его спиной маячил Тараскин, который привел понятых – дворничиху и пожилого бухгалтера из домоуправления.

– Мое почтение, Сергей Ипатьич, – сказал Жеглов Панкову, и в голосе его мне послышалась смесь почтительности и нахальства.

Панков спустил на кончик носа дужку очков и смотрел на нас поверх стекол, и от этого казалось, что он решил боднуть Жеглова и сейчас присматривается, как сделать это ловчее.

– Здравствуй, Жеглов, – сказал Панков, и в его приветствии тоже неуловимо смешались одобрение и усмешка, – видимо, они давно и хорошо знали друг друга. Потом он

оглядел нас и сказал бодро: – Здорово, сыскари, добры молодцы!..

Следователь прокуратуры Панков был стар, тщедушен, и выражение лица у него было сонное. А может, мне так казалось из-за того, что глаза у него все время были прищурены под старомодными очками без оправы. Панков снял и аккуратно поставил в углу прихожей галоши, всюю светившие своей алой байковой подкладкой. И большой черный зонт он раскрыл и приспособил сушиться на кухне. Потом вошел в комнату, мельком глянул на убитую, потер зябнувшие ладони, что-то шепнул Жеглову и наконец распорядился:

– Благословясь, приступим. Слушай мою команду: не суетиться, руками ничего не хватать, обо всем любопытном информировать меня. Начинайте...

Жеглов повернулся ко мне:

– Ты, Шарапов, будешь писать протокол...

– Я?!!

– Конечно ты. Бери блокнот на изготровку, пиши быстро, но обязательно разборчиво. Привыкай...

«...Осмотр производится в дневное время, – записывал я под диктовку Жеглова, – в пасмурную погоду, освещение естественное... комната размером 5 × 3,5 метра, прямоугольная, окно одно, трехстворчатое, обращено на северо-запад... входная дверь и окна в комнате и на кухне к началу осмотра были заперты и видимых повреждений не имеют...»

Немного погодя вышли на кухню перекурить, и я спросил

Жеглова, какой толк от старичка Панкова, который, отдав еще несколько распоряжений, на мой взгляд довольно пустяковых, уютно устроился в кресле и, казалось, отключился от всего, происходящего в квартире.

— Э, нет, друг ситный, — сказал Жеглов, — этот старичок борозды не испортит, старый разыскной волк. Он такие убийства разматывал, что тебе и не снилось. Одно — в Шестом проезде рощинском мы вместе раскрывали, обоих нас потом поощрили: по путевке дали в дом отдыха... Да и закон требует, чтобы дела по убийству вела прокуратура. Но это, так сказать, оформление, а розыск, вся оперативная работа все равно за нами остается.

Будто учуяв, что о нем речь, в кухню вошел Панков, положил перед Жегловым на газете продолговатый кусочек металла:

— Ну-с, Глеб Георгиевич, имеется пуля. Какие будут суждения? — И вдруг засмеялся старческим перхающим смехом.

Жеглов достал из кармана лупу, взял у Панкова пинцет и, поворачивая в разные стороны, принялся рассматривать вещдок. Крутил он ее, вертел, присматривался, чуть ли не нюхал, я все ждал, что он ее на зуб попробует. Чего там рассматривать — пуля как пуля, обычная пистолетная пуля...

— Надо гильзу поискать, оно надежней будет... — сказал Жеглов.

Панков, ухмыляясь, заметил:

— Еще лучше было бы посмотреть само оружие...

Жеглов, поскрипывая щегольскими своими сапожками, прошелся по кухне, крепко потер обеими ладонями лоб и сообщил:

– Значитца, так, Сергей Ипатьич: пуля эта – 6,35, от «омеги» или «байярда».

Я от удивления раскрыл рот – каких уж только я пуль не навидался и, конечно, могу отличить винтовочную от револьверной. Но назвать систему оружия – это действительно номер! Как бы сочувствуя мне, Панков скромно спросил Жеглова:

– Из чего сие следует, сударь мой?

– Из пули, Сергей Ипатьич, – хладнокровно сказал Жеглов. – Шесть нарезов с левым направлением, почерк вполне заметный!

– Тогда как вы объясните это? – Панков достал из кармана аккуратный газетный пакетик, развернул его, вынул из ваты гильзу, небольшую, медно-желтую, с отчетливой вмятиной от бойка на донышке. – Гильза, судя по маркировке, наша, отечественная...

– А где была? – торопливо спросил Жеглов.

– Там, где ей положено, слева от тела; надо полагать, нормально выброшена отражателем.

– Хм, гильза наверняка отечественная. Ну что ж, запишем это в загадки... – Жеглов задумался. – Все равно надо оружие искать. Пошли...

Большая часть комнаты – по стенам – была уже осмотрена,

оставался только главный узел – центр комнаты, тело и стол.

Жеглов спросил Надю, было ли в доме оружие. Она показала головой, молча пожала плечами; тогда Жеглов сказал Пасюку и Грише:

– Разделите между собой помещение и еще раз пройдитесь по всем укромным местам, поищите оружие и все, что к нему может иметь отношение. Быстро! – Потом повернулся ко мне. – Записывай!

«...Квартира чисто убрана, беспорядка ни в чем не наблюдается, по заявлению сестры убитой, предметы обстановки находятся на обычных местах...

...В центре комнаты стол, круглый, покрытый чистой белой скатертью...

...Вокруг стола четыре стула, № 1, 2, 3 и 4 (см. схему). Стулья № 2 и № 4 от стола отодвинуты каждый примерно на 50 см...

...В центре стола – банка с вареньем (по виду вишневым), фаянсовый чайник, нарезанный батон (на ощупь – вчерашний), столовый нож, половина плитки шоколада „Серебряный ярлык“ в обертке...

...На столе против стула № 2 чашка с жидкостью, похожей на чай, наполненная на две трети. На краю чашки след красного цвета – вероятно, от губной помады... Рядом блюдце с вареньем и рюмка, до середины наполненная темно-красной жидкостью – по-видимому, вином...

...На столе против стула № 4 чашка с жидкостью, похожей

на чай, полная. Блюдец с вареньем... Рюмка, на дне которой темно-красная жидкость – по-видимому, вино... Бутылка 0,5 л с надписью: „Азербайджанское вино. Кюрдамир“, почти полная, с темно-красной жидкостью, сходной по виду с вином в рюмках... На отдельном блюде – половина плитки шоколада, надкусанная в одном месте... Хрустальная пепельница, в которой находятся три окурка папирос „Дели“ с характерно смятыми концами гильз... Чайная ложка...»

К Жеглову подошла Надя, робко тронула его за руку:

– Извините... Вы просили вещи Ларисы посмотреть...

– Ну?

– Мне кажется... Я что-то не нахожу... У нее был новый чемодан, большой, желтый, и его нигде не видно.

– Ага, понял, – кивнул Жеглов. – А вещи?

– В шкафу была ее шубка под котик... Платье красное из панбархата... Костюм из жатки, темно-синий, несколько кофточек... Я ничего этого не вижу...

– А во всех остальных местах смотрели? Может, еще где лежит?

Наденька залилась слезами:

– Нет нигде, я смотрела... И драгоценности ее пропали из шкатулки. Вот, посмотрите...

Она подвела Жеглова к буфету, открыла верхнюю створку, достала оттуда большую шкатулку сандалового дерева, инкрустированную буком, откинула крышку – на дне лежали дешевенькие на вид украшения, пуговицы, какие-то кви-

танции, бронзовая обезьянка.

– Какие именно здесь были драгоценности? – спросил Жеглов деловито.

– Часики золотые... серьги с бирюзой... ящерица...

– Какая ящерица? – переспросил Жеглов.

– Браслет такой, витой, в виде ящерицы с изумрудными глазками... Один глаз потерялся... – пыталась сосредоточиться девушка. – Кольца она на руках носила...

Жеглов повернулся в сторону убитой, сорвался с места, быстро нагнулся над телом – колец на пальцах не было. Надя с ужасом посмотрела на сестру, закрыла лицо руками и снова зашлась в глухих рыданиях, сквозь которые прорывались слова:

– Ее ограбили!.. Ограбили... Убили, чтобы ограбить... Бедная моя...

Пасюк, стоя на стуле перед книжным шкафом, сказал:

– Глеб Георгиевич, патроны... – И протянул небольшую синюю коробку Жеглову.

Рассмотрев коробку, Жеглов довольно улыбнулся и показал ее Панкову – на коробке большими желто-красными буквами было написано: «БАЙЯРД». Панков открыл коробку: из решетчатой, похожей на пчелиные соты упаковки, как шипы, торчали остроносые сизые пули. Однако торжество Жеглова длилось недолго, и нарушил его как раз я.

– Пули-то от «байярда», это точно, – заметил я. – Но коробка полная. Все пули на месте – ни одного свободного

гнезда...

– Ничего, – твердо сказал Жеглов. – Здесь уже, как говорится, «тепло», поищем – найдем. Ты, Шарапов, запомни себе твердо: кто ищет – находит, в уныние не имей привычки вдаваться, понял?

Я кивнул, а Жеглов уже нашел мне дело:

– Вон, видишь, Иван достал из шкафа пачку бумаг? Разбери-ка их по-быстрому, – может, чего к делу относится.

Надя сказала торопливо:

– Это личные письма Ларисы, не стоит...

Но Жеглов перебил ее властно:

– Сейчас не важно, личные там или деловые, а посмотреть надо, – может, в них следок какой покажется. Читай, Шарапов, все подряд, потом для меня суммируешь...

Надя слабо махнула рукой, поднесла к глазам платок и снова горько заплакала, но Жеглов уже отвернулся от нее и стал заворачивать в бумагу патроны. Мне было как-то неловко оттого, что надо читать чужие письма, но все-таки Жеглов, наверное, прав: если не случайный какой грабитель залетел в эту уютную квартиру, чтобы убить и обобрать хозяйку, то корни всей этой истории могли уходить именно в личные дела Ларисы, а письма – это как-никак в личных делах лучший подсказчик.

Усевшись за письменный столик около окна, я неторопливо и фундаментально стал сортировать бумаги, среди которых, кроме писем, были и телеграммы, и записки, и счета

за коммунальные услуги, раскладывая их по отправителям в отдельные пачечки. Пачек этих оказалось немного, потому что отправители были в основном одни и те же: мать Ларисы, муж ее Груздев, какая-то женщина, видимо подруга, по имени Ира и некий Арнольд Зелентул, с которого я и решил начать. Первое же письмо начиналось с пылких признаний в вечной, неутолимой и рыцарской, со ссылками на классиков, любви, – «помнишь, как у Шиллера?...» – и поскольку мне ни читать, ни тем более писать таких писем никогда не доводилось, я с большим интересом пробежал их глазами, пока они мне не приелись, потому что накал Арнольдовой страсти от письма к письму угасал, сменившись вскоре житейской прозой вроде объяснений о трудностях совместной жизни на его скромную интендантскую зарплату... Мне как-то вчуже стало совестно, и я взял последнее по датам письмо – написано оно было больше года назад и заканчивалось жалобами на злую судьбу, которая никак не позволяет им с Ларисой соединиться в обозримом будущем, и, следовательно, их дальнейшие встречи бесперспективны... Эх, птички божьи! Отложил я письма Арнольда в сторону, взялся было за письма Ирины, но в комнату быстро вошел милиционер.

– Товарищ капитан, гражданина Груздева привезли. Можно войти? – обратился он к Жеглову.

Да собственно, Груздев и так уже вошел. Он стоял в дверях, уцепившись за косяк, и я почему-то в первый момент смотрел не на его лицо, а именно на эту судорожно сжатую,

белую, словно налившуюся гипсом, руку. Каждый сустав выступил на ней желтоватым пятном, и располосовали ее синие полоски вен, и в этой руке жил такой ужасный испуг, в недвижимости ее было такое волнение, что я никак не мог оторваться от нее и взглянуть Груздеву в глаза и очнулся, только услышав его голос:

– Что это такое?..

Все молчали, потому что вопрос не требовал ответа. С криком бросилась к нему на грудь Надя, увидев в нем единственного здесь близкого человека, с которым можно разделить и немного утишить боль потери.

Груздев отцепил руку от двери, он словно отлеплял каждый палец по отдельности, и все движения его походили на замедленное кино, а рука совершила в воздухе плавный круг, слепо нащупала голову Нади и бесчувственно, вяло стала гладить ее, а сухие обветренные губы шептали еле слышно:

– Вот... Наденька... какое... несчастье... случилось...

Не отрываясь, смотрел он на Ларису, и нам, конечно, было неведомо, о чем он думает – о том, как они встретились, или как последний раз расстались, или как она впервые вошла в этот дом, или как случилось, что она лежит здесь наполовину голая, на полу, с простреленной головой, и дом полон чужих людей, которые хозяйски распоряжаются, а он приходит сюда опоздавшим зрителем, когда занавес уже поднят и страшная запутанная пьеса идет полным ходом. На его костистом

некрасивом лице было разлито огромное испуганное удивление, но с каждой минутой недоумение исчезало, как влага с горячего асфальта, пока не запекся на лице неровными красными пятнами страх, только страх...

С того момента, как Груздев вошел, Жеглов не сводил с него пристального взгляда своих выпуклых цепких глаз, и Груздев, видимо, в конце концов почувствовал этот взгляд, беспокойно повертел головой, посмотрел на Жеглова и спросил:

– Что вы на меня так смотрите?

Жеглов пожал плечами:

– Станный вопрос... Обыкновенно смотрю.

– Не-ет, вы на меня так смотрите, будто подозреваете... –

Груздев покачал головой.

– Знаете что, гражданин, давайте не будем отвлекаться, – сказал Жеглов, и по тону его, по оттопырившейся нижней губе я понял, что он рассердился. – Скажите мне лучше, когда вы с потерпевшей последний раз виделись?

– Дней десять назад.

– Где?

– Здесь.

– С какой целью?

– Мы размениваем квартиру – я привез Ларисе планы нескольких вариантов...

Груздев говорил медленно, еле разлепляя сухие губы, и я не мог понять: он что, раздумывает так долго над ответами

или все еще опомниться не может?

К разговору подключился Панков:

– Вы кого-нибудь подозреваете?

Груздев вскинул на него недобрый взгляд:

– Чтобы подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет. – Он сказал это отдельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть неприязни.

– Это конечно, – простецки улыбнулся Панков. – Но, возможно, есть человек, к которому стоит повнимательней приглядеться, вы как думаете?

– Таких людей вокруг Ларисы последнее время вилось предостаточно, – сказал Груздев зло, помолчал, тяжело вздохнул. – Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится...

– Вы имеете в виду ее театральное окружение... – уточнил Жеглов и как бы мимоходом спросил: – У вас сейчас как с жилплощадью, нормально?

– Ненормально! – отрезал Груздев и с вызовом добавил: – Но к делу это отношения не имеет...

Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер вспотевший лоб.

– Как знать, как знать, – неожиданно тонким голосом сказал Жеглов и достал из планшета записку, повертел ее в руках и спрятал обратно. – У вас оружие имеется?

Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул! Вздвинулся-то он наверняка, пото-

му что снова полез за носовым платком, и я впервые увидел, что до синевы бледный человек может одновременно покрываться испариной.

– Нет... – сказал Груздев медленно и протяжно. – Не может быть... Я как-то не подумал...

– О чем не подумали? – спросил Жеглов спокойно.

– Я совсем забыл о нем...

– Ну-ну... – поторопил Груздева Панков.

– Неужели это из него?.. У меня был наградной пистолет... – Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы, и язык онемели. – Я совсем забыл о нем...

Он встал и направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову:

– Вы нашли?.. Это из него?..

– Покажите, куда вы его положили, – спокойно сказал Панков.

Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку, достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности. Трясущимися руками откинул крышку, тут по уставился внутрь шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники.

– Его здесь нет... Я хранил его в шкатулке.

– А взяли когда? – быстро осведомился Жеглов.

Груздев, словно не желая разговаривать с Жегловым, ответил Панкову:

– Я не брал... Поверьте, я не знаю, где он!

Панков развел руками, будто хотел сказать: «Не знаете, так не знаете, поверим...» – а Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву:

– Вам вот этот предмет знаком?

– Да-а... – глядя куда-то вбок, сказал Груздев. – Знаком... знаком... Это мои патроны...

Трясущимися пальцами он положил в блюдо, стоявшее на буфете, окурок, достал из пачки-десяточки «Дели» папиросу, дунул в мундштук, примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает, мне было тяжело смотреть на него, я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки, и я вспомнил, что под диктовку Жеглова записал в свой блокнот: «Три окурка папирос „Дели“».

Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно ворохнулось, перехватило дыхание: мундштуки, наподобие хвостовика-стабилизатора бомбы, только без поперечной планки, были примяты крест-накрест. Точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев! Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно, так что западали щеки и перекачивался кадык. «Это улика», – подумал я, и сразу же вдогонку пришла новая мысль: он ведь говорит, что здесь не был, – выходит, врет? Впрочем, может...

И неожиданно для себя сиплым голосом я спросил:

– Гражданин Груздев, скажите... ваша жена курит? То есть курила?..

Жеглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня, но мне это было сейчас безразлично, я находился у самой цели и, не обращая внимания на Жеглова, нетерпеливо переспросил медлившего с ответом Груздева:

– Папиросы она... курила? – И я неловко кивнул на тело Ларисы.

Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло:

– Не-ет... Она даже запаха не переносила табачного. Я на кухню всегда выходил...

– Тогда как же вы объясните... – начал было я, но Жеглов неожиданно встал между нами, приподняв руку жестом фокусника, громко и сухо щелкнул пальцами, вставляя ска- зал:

– Од-ну ми-нуточку!.. Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете?

Косо глянув на него, Груздев сухо, неприязненно кивнул, словно говоря: «Ну и живу, ну и что, вам какое дело?»

– Адресочек позвольте, – попросил Жеглов.

– Пожалуйста, – скривил губы Груздев. – Но надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет...

– Мы разберемся, – неопределенно пообещал Жеглов. – Запиши, Володя.

Груздев продиктовал адрес и, пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жегло-

ву:

– Я просил бы не информировать квартирную хозяйку... Нам еще жить там... Вы должны с этим считаться.

– Я пока ничего обещать не могу, – сухо, неопределенно как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. – Следствие покажет...

Груздев возразил злым, тонким голосом:

– Вы меня извините, я не специалист, но мне кажется... В общем, не хватит ли следствию крутиться вокруг моей скромной персоны? Время-то идет...

Жеглов, не глядя на него, сказал равнодушно:

– Ну почему же вашей персоны? Разбираемся... как положено.

– Да что вы мне голову морочите?! – закричал Груздев. – Что я, не вижу, что ли, вы меня подозреваете? Чушь какая! Пистолет, патроны... окурки, глядишь, в ход пойдут. – Груздев презрительно посмотрел на меня, прикурил от своей папирсы новую, окурок раздраженно швырнул в блюдце, не попал, и тот, дымясь, упал на ковровую дорожку.

Жеглов поднял окурок, аккуратно загасил его в блюдце.

– Да вы не нервничайте, товарищ Груздев, – сказал он мягко, почти задушевно. – Мы вас понимаем, сочувствуем, можно сказать... горю. Но и вы нас поймите, мы ведь не от себя работаем. Разберемся. Пойдем, Шарапов, я тебе указания дам. – Повернулся, пошел к дверям быстрой своей, пружинящей походкой и уже на выходе попросил Груздева: – Не

серчайте, Илья Сергеич, лучше помогите товарищам с вещами разобраться – все ли на месте?

В коридоре, прижав меня к вешалке, Жеглов сказал быстро и зло:

– Ты вот что, орел, слушай внимательно. Значитца, с вопросами своими мудрыми воздержись пока. Твой номер шестнадцатый, понял? Помалкивай в трубочку...

– Да я... – вздыбился я на него.

– Помолчи, тебе говорят! – заорал Жеглов и сразу перешел почти на шепот. – Папиросы заметил – хвалю! Я их, между прочим, как он только вошел, усек, но, обрати внимание, виду не подал. Ты усвой, заруби на своем распрекрасном носу раз и навсегда: спрос, он в нашем деле до-орого стоит! Спрашивать вовремя надо, чтобы в самую десятку лупить, понял?

Я покачал головой, пожал плечами: не понял, мол.

– Ну, сейчас не время, я тебе потом объясню, это штука серьезная, – пообещал Жеглов. – Наблюдай пока, мотай на ус. Как там у вас в армии говорят: делай, как я! И все! И давай без партизанщины, понял?

Я кивнул; и чувствовал я себя как собака, перед носом которой подбросили кусок сахара и сами же его поймали и спрятали в карман: на какую вескую улику я вышел, сейчас бы как в атаке – раз-два, быстрота и натиск! Черт побери, оказывается, не так это просто. Жеглову, наверное, виднее...

– Есть, товарищ начальник, делать, как ты. Перехожу на

прием.

Жеглов улыбнулся, ткнул меня кулаком в живот и распорядился:

– Вон Тараскин какого-то суслика приволок, пошли расспросим...

Тараскин, которому Жеглов велел обойти соседей, расспросить их, не слышали ли чего, не видели ли кого, какой разговор промеж людьми насчет происшествия идет, приволок свидетеля очень интересного.

Свидетель, сосед Груздевых по лестничной клетке, и впрямь похожий на суслика – маленький, сутуловатый, с узкими плечиками, – рассказывал, поблескивая быстрыми черными глазками из-под косматых бровей:

– Меня, этта, жена послала ведро вынести на помойку, н-ну... Выхожу я на парадную, аккурат Илья Сергеич по лестнице идут... Встрелились мы, конечно, я с ими этта... по-здравовался: здравствуйте, говорю, Илья Сергеич, н-ну, и он мне – здравствуй, мол, Федор Петрович... Было, граждане начальники, было...

– А потом что? – спросил Жеглов ласково.

– Этта... Известно чего... Я с ведром – на черный ход. А Илья, значит, Сергеич – в парадную, на улицу.

Жеглов сощурился, оглянулся на комнату, в которой оставил Груздева, и широко расставил руки, будто собираясь всех обнять:

– Ну-ка, орлы, здесь и так повернуться негде. Давай об-

ратно... – И соседа вежливо очень спросил: – Мы не помещаем, если к вам в квартиру вернемся? Если это удобно, конечно... – И вид у него при этом был такой серьезный, такой начальственный, что сосед быстро-быстро закивал головой, словно обрадовал его своей просьбой Жеглов, польстил ему очень:

– Да господа, какой разговор, заходите, товарищи начальники, жилплощадь свободная!..

Мы прошли в комнату соседа, расселись за небольшим колченогим столом, покрытым старой клеенкой.

– Ну вот, здесь поспокойней будет, – сказал Жеглов и обратился к соседу, будто день подряд они разговаривали, а сейчас просто так прервались на минутку: – Значит, Илья Сергеевич на улицу вышел, а вы – черным ходом...

– Точно! – подтвердил сосед.

– Когда, вы говорите, дело-то было?

– А вчерась, к вечеру... Я аккурат после ночной проспался, картошку поставил варить, а сам с ведром, как говориться...

Я почувствовал легкий озноб: похоже, что все врет Груздев, сейчас очную ставку ему с соседом – и деваться будет некуда. Подобрался, еще более посерьезнел Жеглов, а Тараскин ухмыльнулся, не умея скрыть торжества. Жеглов поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно – все молчали, ожидая вопросов начальника. А он сказал, обращаясь к хозяину, веско, значительно:

– Мы из отдела борьбы с бандитизмом. Моя фамилия Жеглов, не слышали? – Хозяин почтительно привстал, а Жеглов протянул ему руку через стол: – Будем знакомы.

Хозяин обеими руками схватился за широкую ладонь Жеглова, потряс ее, торопливо сообщил:

– Липатниковы мы. Липатников, значит, Федор Петрович, очень приятно...

Не сядясь, поставив по обычной привычке ногу на перекладину стула, будто предлагая всем полюбоваться щегольским ладным своим сапожком, Жеглов, глядя соседу прямо в глаза, сказал доверительно:

– Вопрос мы разбираем, Федор Петрович, наисерьезный, сами понимаете... – Сосед покивал лохматой головой. – Значит, все должно быть точно, тютелька в тютельку...

– Все понятно, товарищ Жеглов, – сразу же уразумел сосед.

– Отсюда вопрос: вы не путаете, *вчера* дело было? Или, может, *на днях*?

– Да что вы, товарищ Жеглов! – обиделся сосед. – Мы люди тверезые, не шелапуты какие, чтобы, как говорится, нынче да анадясь перепутывать! Вчерась, как Бог свят, вчерась!

– Так, хорошо, – утвердил Жеглов. – Пошли дальше. Припомните, Федор Петрович, как можно точнее: *времени сколько было*?

Сосед ответил быстро и не задумываясь:

– А вот это, товарищ Жеглов, не скажу – не знаю я, сколь-

ко было время. К вечеру – это точно, а время мне ни к чему. У нас в дому и часов-то нет, вон ходики сломались, а починить все не соберемся...

Старые ходики на стене действительно показывали два часа, маятника у них не было.

– А как же вы на работу ходите? – удивился Жеглов.

– Я не просплю, – заверил сосед. – Я сроду с петухами встаю. И радио вон орет – как тут проспать?

Жеглов глянул на черную, порванную с одного края тарелку допотопного репродуктора, из которого Рейзен гудел в это время своим густым голосом арию Кончака, подумал, снова посмотрел на репродуктор, уже внимательней, сказал недоверчиво:

– Что ж он у вас, круглосуточно действует?

– Ага, он мне не препятствует, я после ночной и сплю прием, – заулыбался Федор Петрович, показывая длинные передние зубы.

Глаза у Жеглова остро блеснули, он спросил быстро:

– Может, припомните, чего он играл, когда вы с ведром-то выходили, а, Федор Петрович?

Сосед с удивлением посмотрел на Жеглова – странно, мол, в какую сторону разговор заехал, – но все же задумался, вспоминая, и немного погодя сообщил:

– Матч был, футбольный. – И добавил для полной ясности заученное: – Трансляция со стадиона «Динамо».

До меня дошло наконец, куда гнет Жеглов, я на него про-

сто с восхищением посмотрел, а Жеглов весело сказал:

– Так мы с вами, выходит, болельщики, Федор Петрович? Какой тайм передавали?

Федор Петрович тяжело вздохнул, покачал головой:

– Не-е... Я не занимаюсь, как говорится... Так просто, слушал от нечего делать, вы уж извините. Не скажу, какой... этта... передавали.

– Ну, может быть, вы хоть момент этот запомнили, про что говорилось, когда с ведром-то выходили? – спросил с надеждой Жеглов.

Сосед пожал плечами:

– Да он уже кончился, матч, значит. Да-а, кончился, я пошел картошку ставить, а потом уж с ведром...

– А точно помните, что кончился? – снова заулыбался Жеглов.

– Точно.

– С картошкой вы долго возились?

– Кой там долго, она уже начищена была, только поставил, взял ведро...

– Значит, как матч кончился, вы минут через пять-десять с Ильей Сергеевичем и встретились?

Федор Петрович поднял глаза к потолку, задумчиво пошевелил губами:

– Так, должно...

Жеглов сузил глаза, снял ногу со стула, походил по комнате, что-то про себя бормоча, потом спросил Тараскина:

– Кто вчера играл, ну-ка?

– ЦДКА – «Динамо», – уверенно сказал Тараскин.

– Правильно, – одобрил Жеглов. – Счет три – один в пользу наших. Значитца, так: начало в семнадцать плюс сорок пять плюс минут пятнадцать перерыв – восемнадцать часов. Плюс сорок пять, плюс десять минут... Та-ак... Восемнадцать пятьдесят, максимум девятнадцать... Потом чаепитие и другие рассказы... Все сходится! Ты улавливаешь, Шараров?

Я-то улавливал уже: около семи вечера Наденька звонила Ларисе, и та попросила ее перезвонить через полчаса, пока она занята важным разговором. Теперь ясно, с кем этот разговор происходил... Да-а, дела...

Душевно, за ручку, распрощались мы с Федором Петровичем и вернулись в квартиру Груздевых, где процедура уже заканчивалась. Судмедэксперт диктовал Панкову результаты осмотра трупа, следователь прилежно записывал в протокол данные, переспрашивая иногда отдельные медицинские термины. Пасюк, любитель чистоты и порядка, расставлял по местам вещи, задвигал ящики, закрывал распахнутые дверцы. Приехала карета из морга, санитары прошли в комнату, и, чтобы не видеть, как поднимают и выносят тело Ларисы, я пошел на кухню, где за столиком, под надзором Гриши Шесть-на-девять, склонив голову на руки и уставившись глазами в одну точку, сидел Груздев.

Через несколько минут на кухню пришел Панков, которо-

му разговор с соседом был, по-видимому, уже известен, и сразу спросил Груздева:

– Илья Сергеевич, где вы были вчера вечером, часов в семь?

Груздев поднял голову, мутными узкими глазками неприязненно оглядел нас всех, судорожно сглотнул:

– Вчера вечером в семь я был дома. Я имею в виду – в Лосинке... – Помолчал и добавил: – Вы напрасно теряете время, это не я убил Ларису.

– Следствие располагает данными, – сказал железным голосом Глеб, – что вчера в семь часов вы были здесь!

– Следствие! – повторил с ненавистью Груздев. – Вам бы только засадить человека, а кого – не важно. Вместо того чтобы убийцу искать...

– Слушайте, Груздев, – перебил Панков. – Соседи видели вас, зачем отпираться?

– Они меня видели не в семь, а в четыре! – запальчиво крикнул Груздев.

– Но в начале разговора вы сказали, что уже десять дней здесь не были, – с готовностью напомнил Жеглов, и я видел, что он недоволен Панковым так же, как был недоволен мною, когда я спрашивал Груздева про папиросы.

– Я этого не говорил, – сказал Груздев, и я перехватил ненавидящий блеск в его глазах, когда он смотрел на Жеглова. – Я сказал, что Ларису не видел дней десять...

– А вчера? – лениво поинтересовался Жеглов.

– И вчера я ее не видел, – нехотя ответил Груздев. – Я ее дома не застал.

– Все ясно, значитца... – Жеглов заложил руки за спину и принялся расхаживать по кухне, о чем-то сосредоточенно размышляя.

Панков пошел в комнату, дал понятым расписаться в протоколе, отпустил их и вернулся с Пасюком на кухню.

– Вас я тоже попрошу расписаться. – Он протянул Груздеву протокол, но тот отшатнулся, выставив вперед ладони, резко закачал головой.

– Я ваши акты подписывать не намерен, – угрюмо заявил он.

– Это как же понимать? – спросил Панков строго. – Вы ведь присутствовали при осмотре!

– Как хотите, так и понимайте, – ответил Груздев резко, подумал немного и добавил: – Кстати, когда я приехал, вы уже все тут разворотили...

Панков поджал и без того тонкие губы, укоризненно покачал головой:

– Напрасно, напрасно вы себя так ставите...

Груздев досадливо махнул рукой в его сторону и отвернулся к окну. Паузу разрядил Жеглов, он спросил непринужденно:

– Илья Сергеевич, а в Лосинке могут подтвердить, что вы вчера вечером были дома?

– Конечно... – презрительно бросил Груздев, не оборачи-

ваясь.

– Позвольте спросить кто?

– Ну, если на то пошло, и жена моя, и квартирохозяйка.

– Понятно, – кивнул Жеглов. – Они на месте сейчас?

– Вероятно... Куда они денутся?..

– Чудненько... – Жеглов поставил сапог на табуретку, подтянул голенище; полюбовался немного его неувядающим блеском, проделал ту же операцию со вторым сапогом. – Пасюк, сургуч, печатка имеются?

– А як же! – отозвался Иван.

– Добро. Надюша, вас я попрошу освободить, временно конечно, вот этот чемодан – для вещественных доказательств.

Надя кивнула, открыла чемодан и стала перекладывать вещи из него в платяной шкаф, а Жеглов приказал мне:

– Сложишь все вещдоки. Упакуй только аккуратно и пальцами не следи. Бутылку заткни, чтоб не пролилась. Да, не забудь письма – упакуй всю пачку, у себя разберемся...

– А бутылку на что? – удивился я.

– Бутылка – это след, – сказал Жеглов. – Наше дело его представить. А уж эксперты будут решать, пригоден он или нет. – И, повернувшись к Груздеву, сказал как нельзя более любезно: – Ваши ключики, Илья Сергеевич, от этой квартирки попрошу.

Груздев по-прежнему молча смотрел в окно, и я подумал, что ни за что в жизни не догадался бы спросить про ключи

так, будто заранее известно, что они имеются; наоборот, я бы начал умствовать, что раз люди разошлись, значит и ключей у него быть не должно.

Но Груздев молчал, и Жеглов, открыв планшет, вынул какой-то бланк, протянул его Панкову. Тот стал писать на нем, и, приглядевшись, я увидел, что это ордер на обыск. А Жеглов без малейшей нетерпеливости снова сказал Груздеву:

– Ключики нам нужны, Илья Сергеевич. – И пояснил: – Квартиру придется временно опечатать.

Груздев резко повернулся:

– Ключей у меня нет. И быть не могло. Постарайтесь понять, что интеллигентный человек не станет держать у себя ключи от квартиры чужой ему женщины! Чужой, понимаете, чужой!

– Напрасно вы все-таки так... – неприязненно сказал Панков и отдал ордер Жеглову. – Ну да ладно, давайте заканчивать.

– Все на выход! – коротко приказал Жеглов. – Вам, гражданин Груздев, придется с нами проехать на Петровку, тридцать восемь. Уточнить еще кое-что...

На лестнице Жеглов поотстал с Пасюком и Тараскиным, дал им ордер, сказал негромко:

– Езжайте в Лосинку. По этому адресу произведете неотложный обыск – ищите все, что может иметь отношение к делу, ясно? Особенно переписку – всю как есть изымайте. Потом сожительницу его и хозяйку квартиры поврозь допро-

сите – где был он вчера, что делал, весь день до минуточки, ясно? И назад, рысью!..

* * *

В столице сейчас сто одиннадцать многодетных матерей, удостоенных высшей правительственной награды – ордена «Мать-героиня». Каждая из них родила и воспитала десять и более детей.

«Московский большевик»

Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали, молча поднялись и в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумаги, ручку, сказал:

– Попрошу как можно подробнее изложить всю историю вашей жизни с Ларисой, все ваши соображения о происшествии, перечислить ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам буквально.

– Моя жизнь с Ларисой – это мое личное дело, – запальчиво сказал Груздев. – А что касается ее знакомых, то поищите кого-нибудь другого на них доносы писать. А меня увольте, я не доносчик...

– Слушайте, Груздев, – устало сказал Жеглов. – Мне уже надоело. Что вы со мной все время препираетесь? Вы не до-

носчик, вы по делу *свидетель*. Пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, по закону *обязаны*. Так что давайте не будем... Пишите, что вам говорят...

Груздев сердито пожал плечами; всем своим видом он показывал, что делать нечего, приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он перо в чернильницу и снова отложил в сторону:

– На чье имя мне писать? И как этот документ озаглавить?

– Озаглавьте: «Объяснение». И пишите на имя начальника московской милиции генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем... Пошли, Шарапов, – позвал Жеглов, и мы вышли в коридор.

– А зачем на имя генерала ты ему писать велел? – полюбопытствовал я.

– Для внушительности – это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Авось поостережется. Идем ко мне, перекусим.

Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы: пять минут первого. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «Принц Альберт» – в ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, он держал сахарный песок, – достал из сейфа буханку хлеба, которую я успел «отovarить» незапамятно давно – сегодня, а вернее, вчера перед обедом, собираясь отмечать «день чекиста». Своим разведческим, острым как бритва ножом с цветной наборной плексигласо-

вой рукояткой я нарезал тонкими ломтями аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпал его сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получился прямо царский. Я свой ломоть нарезал маленькими ромбами – так удобнее было держать их в сложенной лодочкой ладони, чтобы песок не просыпаться. Прихлебывая вкусный горячий чай, я спросил:

– Что насчет Груздева думаешь, а, Глеб?

– Его это работа, нет вопроса... – И, прожевав, добавил: – Этот субчик нетрудный, у меня не такие плясали. Один хмырь, помню, бандитское нападение инсценировал: приезжаем – жена убитая, он в другой комнате, порезанный да связанный, с кляпом во рту лежит, в квартире полный разгром, все вверх дном перевернуто, ценности похищены. Стали разбираться, он убивается, сил нет: жизни, кричит, себя лишу без моей дорогой супруги! – Жеглов аккуратно смел ладонью крошки с газеты и отправил их в рот, задумался.

– Ну-ну, а дальше?..

– А дальше разведал я, что у него любовница имеется. А поскольку был он мне вот так, – Жеглов провел ребром ладони по горлу, – подозрительный, я ему напрямик и врубил: «Признавайтесь, за что вы убили дорогую супругу?» Ну, что с ним было – это передать тебе невозможно, куда он только на меня не жаловался, до Михаила Ивановича Калинина дошел.

– А ты что?

Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким, силь-

ным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся:

– А я его под стражу взял, чтобы он охолонул маленько. Деньков пять он посидел без допроса, а я тем временем его любовницу расколол: она домишко купила, да непонятно, на какие шиши. Пришлось ей все ж таки признаться, что деньги – тридцать тысяч – любовник дал. А он-то плакался, что аккуратно эти деньги подчистую грабители забрали, ни копейки ему не оставили. Поднимаю я его из камеры, очную ставочку с любименькой. Да-а... Как он ее увидел, так сразу: «Отпустите меня с допроса, подумать надо...» Хорошо. Вызываю через день, не успел он рта раскрыть, я ему заключение экспертизы...

– Какой экспертизы? – не понял я.

– Там, понимаешь, среди прочего на полу приемник валялся, «Телефункен», как сейчас помню, трофейный. И тип этот вовсю разорялся, что искали грабители в приемнике деньги, не нашли и со злости грохнули его об пол со всей силой. А эксперты пишут категорически, что коли грохнулся бы приемник об пол, то произошли бы в его хрупкой конструкции непоправимые перемены и работать он бы ни в жисть не стал. А приемник, между прочим, работает как миленький...

– Ага, он, значит, его на пол поставил, чтобы создать видимость разгрома...

– Точно. Я ему так и сказал, он на полусогнутых: «Жизнь

мне сохраните, умоляю, вину испущю...» Вот такие типы, значитца, имеют место, и ты привыкай вести с ними беспощадную борьбу, как от нас требует народ.

– А Груздев?

– Испекся, – небрежно махнул рукой Жеглов. – Покобелится – и в раскол, куда ему деваться? Все улики налицо, а мужичишко он хлипкий, нервный...

Я поднялся:

– Пойду его проведу – как он там?

– Ни в коем разе, – остановил Жеглов. – Ему сейчас до кондиции дойти надо, наедине, как говорится, со своей совестью. Но, между прочим, ты не думай, что все уже в порядке, такие дела непросто делаются, тут еще поработать придется...

– Есть, – охотно согласился я и попросил: – Ты обещал насчет следственных вопросов поподробней...

– А-а, – вспомнил Жеглов. – Это можно. Конечно, тут все на словах не объяснишь, ты еще пройдешь эту теорию на практике...

Я усмехнулся.

– Ну что ты, как медный самовар, светишься? – рассердился Жеглов. – Дело серьезное! Ты пойми, когда преступника допрашивают, он весь, как зверь, в напряжении, и страх в нем бушует: что следователь знает, что может доказать, про что сейчас спросит? Вот это самое напряжение, страх этот его надо вплоть до самого ужаса завинчивать, понял? А как

это делается? Очень просто. Вопросы должны идти по нарастающей: сначала про пустячки, то да се, мелочишку – тот сказал, та видала, этот слышал... Преступник уже видит, что ты в курсе дела и пришел не так просто, поболтать про цветы и пряники. Ладно. И тут ты ему фактик подбрасываешь, железный...

– Ну а он, представь себе, отпирается, – сказал я.

– И хорошо! И прекрасно! Он отпирается, а ты ему очняк – р-раз! Кладет его, допустим, поделыщик на очной ставке...

– А он все равно отпирается... – подзадорил я его.

– А ты ему свидетеля – р-раз, экспертизу на стол – два! Вещдок какой-нибудь покрепче – тр-ри! И готов парнишечка, обязан он в этом фактике признаться и собственноручно его описать, и к тому же с объяснением, почему врал доселе.

– Ну допустим, – кивнул я. – Что потом?

– Потом ты ему предлагаешь самому рассказать о своей преступной деятельности. Он тебе, конечно, тут же клянется, что сблудил один-единственный разок в молодой своей жизни, да и то по пьянке. А ты сокрушаешься, головой качаешь: опять, мол, заливаешь ты, паря, мне тебя просто до невозможности жалко, что с тобою при твоей неискренней линии станется? Он говорит: «А что?» – а ты краешком, остороженько, называешь, к примеру, Шестой Монетчиковский, где, как тебе известно, кражонка была, но доказательств ни на грош не имеется.

– Так он тебе навстречу и разбежался!

– А вот и разбежался! Я ведь про первый эпизод тоже его спрашивал с прохладцей, издалека. Он мне семь бочек арестантов, а я ему факты, очные ставки и все такое прочее, после чего и сознаваться пришлось, и оправдываться. Поэтому он встает, смотрит в твои красивые голубые глаза, бьет себя в грудь и «чистосердечно» сознается в последнем из преступных фактов своей жизни. Протокол, значитца, подписи и другие рассказы...

Зазвонил телефон – Панков из дому интересовался, не сознался ли Груздев.

– Нет пока, – сказал Жеглов. – Да вы не беспокойтесь, Сергей Ипатьич, развалится... – Положив трубку, Жеглов пошутил: – Спи спокойно, дорогой товарищ... Стар стал прокурорский следователь Панков. Раньше, бывало, пока сам обвиняемого не расколет, хоть ночь, за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. Смешно...

– Ты не отвлекайся, Глеб. Про следственные вопросы ты рассказывал. Мне ведь по книжкам некогда учиться.

– Молодец, Шарапов! – похвалил Жеглов. – При твоей настырности будешь толковый орел-сыщик. Слушай. Значитца, раскололся наш клиент на второй эпизод, ты ему без промедления третий адресок шепчешь. Притом снова железный. А он в это время приходит в соображение, что про второе дело он ни на чем развалился, без доказательств, и охватывает его, конечное дело, досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые, Христом Богом и

ро́дной мамой клянется, что нет на нем ничего больше, все как есть отдал! Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь: и свидетеля-барыгу, и прохожего-очевидца, и подельщика на очной. И снова ему деваться некуда, и снова он тебе покаяние приносит полное, с извинениями и всяческой божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти, объяснить ему, поганцу, что коли каждый эпизод таким вот макарком придется доказывать, клещами из него тянуть, то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного нераскаявшегося вруна-негодая. «И на Якиманке, выходит, ты не был, и в Бабьегородском не твоя работа, и Плющиха тебя не касается и так далее и тому подобное» – всю сводку ему, короче, за год вываливаешь, лишь бы по почерку проходило...

– Так ведь он с перепугу и чего не было признает? – обеспокоился я. – В смысле – чужие дела себе припишет?

– Будь спок. – Жеглов налил себе в стакан остывшего чаю и отхлебнул сразу половину. – Чужое вор в законе сроду на себя не возьмет... Я имею в виду, при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо! А он, когда его вот так, по-умному, обработаешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и за три года вперед! Учись, пока я жив! – И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману.

– Учусь, – сказал я серьезно. – Я этот метод вот как понял! А ты мне еще всякое рассказывай, я буду стараться...

В коридоре раздался гулкий топот, я открыл дверь, выгля-

нул – быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пыхтя, подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутые трубкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал:

– Ось протокол обыска... та допросы жинок.

– Нашли чего? – спросил с интересом Жеглов.

– Та ничего особенного... – ухмыльнулся Иван.

– А что женщины говорят?

– Жинка його казала, шо був он у хати аж с восемнадцати рокив...

– А квартирная хозяйка?

Заговорил наконец Тараскин:

– Хозяйка показала, что с утра его не видела и вечером на веранде ихней было тихо. Так что она и голоса его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше не видела.

– Ясненько, – сказал Жеглов. – Значитца, не было его там.

– А жена?... – спросил я.

– Наивный ты человек, Шарапов! – засмеялся Жеглов. – Когда же это жена мужу алиби не давала? Соображать надо...

Да, это, конечно, верно. Я взял со стола протоколы допросов – почитать, а Жеглов походил немного по кабинету, по-соображал, потом вспомнил:

– Да, так что вы там «ничего особенного»-то нашли?

Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положил его на стол рядом с протоколами. Жеглов развернул газету.

В его руках холодно и тускло блеснула черная вороненая сталь.

Это был пистолет «байярд»!

* * *

В комнате было невероятно накурено, дым болотным туманом стелился по углам; глаза слезились, и я, несмотря на холод – топить еще не начинали, – открыл окно.

Дождь прекратился, было похоже, что ночью падет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч, в чернильной глубине его показались звезды. Стоя у окна, я глубоко вдыхал свежий ночной воздух и раздумывал о сложных хитросплетениях человеческих судеб. На фронте все было много проще, даже не говоря об отношениях с врагом – да и какие это были, собственно говоря, отношения: «Бей фашистского зверя!» – и точка! А тут я сколько ни силился, все равно мне было не сообразить, не понять, как это интеллигентный культурный человек, да еще к тому же врач, может убить женщину, свою пусть бывшую, но жену, близкого человека, из-за какой-то паршивой жилплощади. И не в приступе злости или гнева, и

не из желания избавиться от опостылевшей обузы, даже не из ревности, а из-за какой-то квартиры!

Этот мотив никакого сомнения не вызывал. Жеглов в этом именно духе и высказался, да я и сам полагал точно так же. Правда, некоторые сомнения вызывал страховой полис на имя Ларисы, который был обнаружен в Лосинке там же, где лежал и пистолет «байярд», в выемке за электросчетчиком. Страховка была оформлена накануне убийства, на крупную сумму, и, как объяснил Жеглов, формально оставаясь мужем Ларисы, Груздев имел все законные основания на получение страховой суммы в виде наследства. И на мой взгляд, был еще важный момент – пропажа самых ценных вещей и украшений Ларисы; но когда я спросил Жеглова, как это понимать, он, улыбаясь, объяснил:

– Понимаешь, Володя, неслыханных преступлений не бывает: каждый раз что-то подобное где-то когда-то с кем-то уже было. На том наш брат сыщик и стоит – на сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах, на уловках одного покроя...

– А ты уже расследовал такое? – спросил я.

– И не раз, и не два, – кивнул Жеглов. – К примеру, застал муж свою жену с любовником. Голова кругом, сердце наружу выпрыгивает, выхватил револьвер: бах! бах! – и два трупа. Придет в себя, възрыдает и к нам бежит – казните, граждане, я только что жену убил! А бывает и по-другому, вот как нынче: обдумает человек все неторопливо, как сде-

лать да как от себя отвести, а иной раз и как навести на другого. Приготовит все заранее, хладнокровно сделает – и на дно. Знать не знаю, ведать не ведаю, как случилось, а вы, орлы-сыщики, ищите, носом землю ройте, но убийцу человека моего единственного и на все времена любимого найдите!

– И вещи, выходит, он взял, чтобы мы решили, будто грабеж был? – догадался я.

– Точно! – одобрил Жеглов. – Правильно мыслишь. Они, шмотки-то, может, ему и ни к чему... Для отвода глаз, значит. А может быть, и к чему. Меня на эту мысль наводит пистолет его. Другой на его месте выкинул бы оружие к чертовой матери – от улики избавиться, – а этот, вишь, припрятал: значит, к вещам относится трепетно, жалеет их, понял?.. Да и кольцо у Ларисы на пальце, Надя говорит, цены необыкновенной, от бабки ей досталось...

Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, съежился, зябко поводит плечами, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а не приехал час назад с воли. Набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз, и только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе.

– Немного же вы написали за столько времени, – посетовал Жеглов, принимая от него два редко исписанных корявым, каким-то неуверенным почерком листочка. Груздев

сжал губы еще теснее, ничего не ответил, но Жеглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал, встал, прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел – это как-то не нарочно даже получилось – на одиноком стуле посреди кабинета, так что даже облокотиться было не на что; и сказал Жеглов веско:

– Значитца, так, гражданин Груздев, будем с вами говорить на откровенность: правды писать вы не захотели. – И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения. – А напрасно. Дело-то совсем по-другому было, и враньем мы с вами только усугубляем, понятно?

– Да как вы смеете! – вскочил со стула Груздев. – Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам не жулик какой-нибудь, с которыми, я слышан, в вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач! Я кандидат медицинских наук, если на то пошло! Я буду жаловаться! – Бледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения, он стоял вплотную к Жеглову и, казалось, готов был вцепиться в него.

Жеглов сделал – даже не сделал, а скорее обозначил – неуловимое движение корпусом вперед, на Груздева, и тот невольно отступил, но позади был стул, и он неловко, мешком, шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказал жестко, и в голосе его послышалась угроза:

– Насчет жалоб я уже слышал, доводилось. А вот насчет жуликов – это верно. Ты не жулик. Ты убийца...

У меня перехватило дыхание – настолько неожиданным был этот переход. Я понял, что начинается самое ответственное: сейчас Жеглов будет *раскалывать* Груздева!

А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушало ее лишь хриплое дыхание Груздева да мерное поскрипывание стула под ногой Жеглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и, когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его – Жеглов словно прищипил Груздева к стулу...

– Ты долго готовился... – прервал наконец молчание Жеглов, и голос у него был какой-то необычный, скрипучий, и слышалось в нем одно только чувство – безмерное презрение. – Хи-итрый... Только на хитрых у нас, знаешь, воду возят...

– Да вы... Да что вы такое несете! – Груздев давился словами от возмущения, наконец они вырвались наружу в яростном крике: – Вы с ума сошли!

– Ну-ну, утихомирься... – жестко ухмыльнулся Жеглов. – Будь мужчиной: попался – имей смелость сознаться. Оно к тому же и полезно – в законе прямо сказано: чистосердечное признание смягчает вину...

В кодексе, который я читал вчера утром, формулировка была несколько иная, но мысль эта мелькнула и пропала, потому что заговорил Груздев:

– Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение... Я не верю... Вы со мной разговариваете, будто я в самом деле убийца... – Голос его звучал хрипло, прерывисто, на глазах выступили слезы. – Но ведь, если вы *мне* не верите, то это как-то *доказать* надо?!

– А что тут еще доказывать? – легко сказал Жеглов. – Главное мы уже доказали, а мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия подтвердятся. Ну, например, тем, что пуля выстрелена из вашего пистолета. Я, кстати, это сразу же на глаз определил, на месте...

– Но из пистолета мог выстрелить кто-то другой! Вы же сами убедились, что его на месте не оказалось! – сказал Груздев, и мне послышалась в его голосе вопросительная интонация.

Я посмотрел на Жеглова, и он еле заметно подмигнул мне: «Чувствуешь, как прощупывает?» – а сказал опять вежливо и терпеливо, как учитель, объясняющий несложную задачу совсем уж непонятливому ученику:

– Я ведь сказал, это мелочь. Разберемся, не беспокойтесь, гарантирую. При раскрытии преступления главное – определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает. Ну-ка глянем: выгодно вам это преступление?..

Груздев рванулся с места; на сей раз ему удалось высвободить пальто, и он поднялся:

– Но это же абсурд! Таким путем можно черт знает что обосновать! С вашей точки зрения получается, что детям вы-

годна смерть родителей, жене – мужа и так далее только потому, что все они наследники...

– Но у вас немного другой случай, – перебил Жеглов. – Наследником вы являетесь, а мужем – давно уже нет... – И приказал: – Садитесь! И внимательно слушайте, что я вам скажу. Для вашей же пользы...

Он снял ногу с перекладки стула, прошелся по кабинету, снова остановился перед Груздевым и стал говорить, жестко отрубая взмахом ладони каждую свою фразу:

– Жить с прежней женой – Ларисой – вы больше не желаете...

Вы находите другую женщину – Галину Желтовскую, вашу ассистентку...

При этом повсюду, где только можно, вы создаете видимость доброго отношения к бывшей жене, даете ей деньги, продукты, вносите квартплату...

Но Ларисе некуда деваться – и вы объявляете о решении разменять отдельную квартиру на две комнаты в коммунальных...

На самом деле вам вовсе не улыбается перспектива толкаться с соседями на общей кухне...

Да и квартира, в сущности, ваша – еще родительская...

А Лариса даже обмениваться не торопится...

Расходы растут: жизнь на две семьи до-орого стоит...

И вы принимаете решение...

Груздев закашлялся, а может, засмеялся – не понять бы-

ло, – отер глаза носовым платком и сказал, зло скривив рот:

– Все это было бы смешно...

– Когда бы не было чистой правдой, – перебил Жеглов уверенно. – Вы принимаете решение избавиться от Ларисы да еще заработать на этом. Угрожающей запиской, вот этой, – Жеглов достал из планшета листок, обнаруженный при осмотре, и помахал им перед глазами Груздева, – вы заставляете ее пойти наконец навстречу вашим интересам... в обмене и еще кое в чем... Приходите к ней с вашим любимым вином, с шоколадом, пьете чай, беседуете и, улучив момент, стреляете... Потом, создав видимость ограбления, – похищены самые ценные вещи, даже кольца с рук! – тихо захлопываете дверь и убываете в Лосинку, где договариваетесь с Желтовской, что весь вечер были дома. Алиби!

Жеглов намертво вцепился своим тяжелым, требовательным, пронзительным взглядом в глаза Груздева, и тот, не выдержав, отвернулся, сказал глухо:

– Вся эта дурацкая басня – плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне доказать... Я растерялся что-то... Но вы не думайте...

– Да вы, оказывается, упрямец... – посетовал Жеглов. – Ну что ж, придется с вами разговаривать шершавым языком... протокола, коли вы нормальных слов не понимаете. Шарапов, возьми-ка бланк постановления. Пиши...

Разгуливая по кабинету, Жеглов неторопливо продиктовал суть дела, анкетные данные Груздева, потом, остано-

вившись около него и неотрывно глядя ему в глаза, перешел к доказательствам. Я старательно записывал: «...Помимо изложенного, изобличается: запиской угрожающего содержания (вещественное доказательство № 1); показаниями Надежды Колесовой, сестры потерпевшей; продуктами питания (вещественное доказательство № 2); окурками папирос „Дели“, обнаруженными на месте происшествия, которые курит и гр. Груздев (вещественное доказательство № 3); показаниями свидетеля Липатникова, видевшего Груздева выходящим с места происшествия в период времени, когда была убита Груздева Лариса; показаниями свидетельницы Никодимовой, квартирохозяйки Груздева, опровергающими его алиби; пульей, выстреленной из оружия типа пистолета „байярд“ (вещественное доказательство № 4), каковой пистолет, по признанию подозреваемого, хранился у жены...»

Жеглов остановился, крутанул на каблуке, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги, протянул Груздеву:

– Ознакомьтесь, это протокол обыска у вас в Лосинке... Подпись Желтовской узнаете?

– Д-да, – выдавил из себя Груздев. – Это ее рука...

– Читайте, – сказал Жеглов и незаметно для Груздева достал из того же ящика «байярд» и полис.

– Что за чертовщина?.. – всматриваясь в протокол, сипло сказал Груздев, у него совсем пропал голос. – Какой пистолет? Какой полис?..

Жеглов, не обращая на него внимания, сказал мне:

– Пиши дальше: «...и пистолетом „байярд“, обнаруженным при обыске у Груздева в Лосиноостровской (вещественное доказательство № 5); страховым полисом на имя Ларисы Груздевой, оформленным за день до убийства, обнаруженным там же (вещественное доказательство № 6)...» – И, повернувшись к Груздеву, держа оружие на раскрытой ладони правой руки, а полис – пальцами левой, крикнул: – Вот такой пистолет! Вот такой полис! А? Узнаете?!

Лицо Груздева помертвело, он уронил голову на грудь, и я скорее догадался, чем услышал:

– Все... Боже мой!..

Жеглов сказал отрывисто и веско, словно гвозди вколо-тил:

– Я предупреждал... Доказательств, сами видите, на деся-терых хватит! Рассказывайте!

Долгая, тягучая наступила пауза, и я с нетерпением ждал, когда нарушится эта ужасная тишина, когда Груздев загово-рит наконец и *сам* объяснит, за что и как он убил Ларису. В том, что это сейчас произойдет, сомнений не было, все было ясно. Но Груздев молчал, и поэтому Жеглов поторопил его почти дружески:

– Время идет, Илья Сергеевич... Не тяни, чего там...

В кабинете по-прежнему было холодно, но Груздев рас-стегнул пальто, пуговицы на сорочке – воротничок душил его, на лбу выступила испарина. Острый кадык несколько раз

судорожно прыгнул вверх-вниз, вверх-вниз, он даже рот раскрыл, но выговорить не мог ни слова.

Жеглов сказал задушевно:

– Я понимаю... Это трудно... Но снимите груз с души – станет легче. Поверьте мне – я зна-аю...

– Вы знаете... – выдохнул наконец Груздев с тоской и ненавистью. – Боже мой, какая чудовищная провокация! – И вдруг, повернувшись почему-то ко мне, он закричал что было силы: – Я не убива-ал!! Не убива-ал я, поймите, изверги!..

Я съежился от этого крика, он давил меня, бил по ушам, хлестал по нервам, и я впал совершенно в панику, не представлял себе, что будет дальше. А Жеглов сказал спокойно:

– Ах так, провокация... Ну-ну... Хитер бобер... Пиши дальше, Шарапов: «...Принимая во внимание... изощренность... и особую тяжесть содеянного... а также... что, находясь на свободе... Груздев Илья Сергеевич... может помешать расследованию... либо скрыться... избрать мерой пресечения... способов уклонения от суда и следствия... *содержание под стражей*...»

Груздев сидел, ни на кого не глядя, ко всему безучастный, будто и не слышал слов Жеглова. Глеб взял у меня постановление, бегло прочитал его и, не присаживаясь за стол, распи-сался своей удивительной подписью – слитной, наклонной, с массой кружков, закорючек, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком. Помахал бумажкой в воздухе, чтобы чернила просохли, и сказал Пасюку:

– В камеру его...

* * *

Ленинград, 11 октября, ТАСС. В Ленинград из Свердловска прибыли два эшелона, в которых доставлены все экспонаты сокровищницы мирового искусства – Государственного Эрмитажа, эвакуированные в начале войны.

Следователь Панков позвонил ровно в десять и осведомился, как идут дела с Груздевым.

– Да куда он денется?.. – сказал Жеглов беззаботно и снова заверил Панкова, что все будет как надо.

Положил трубку, закурил, подумал, потом велел мне и Тараскину пойти проведать арестованного.

– В беседы всякие вы с ним не пускайтесь, – сказал он. – Напомните про суровую кару и зачитайте из Уголовного кодекса насчет смягчения оной при чистосердечном раскаянии. В общем, пощупайте, чем он дышит, но интереса особого не надо. Как, мол, хочешь, тебе отвечать...

Тараскин охотно оторвался от какой-то писанины – всякий раз, когда требовалось написать даже пустяковый рапорт, он норовил сбегать эту работу кому-нибудь другому, – и мы пошли к черной лестнице, ведущей во двор, где находилась КПЗ. Еще в кабинете он начал рассказывать постоянному и верному своему слушателю Пасюку содержание

новой картины, а по дороге решил приобщить и меня. Обгоняя меня на лестнице, он заглядывал мне в лицо и торопливо, словно боялся, что я остановлю его, излагал:

– А тут приходит Грибов, ну, этот... Шмага, в общем, и говорит: «Пошли, Гришка! Наше место, – говорит, – в буфете!» – Тараскин залился счастливым смехом, быстрые серые глазки его возбужденно блестели. – В буфете! Понял? И Дружников его обнимает, понимаешь, за талию, и они гордо выходят. А Тарасова – в обморок, но они все равно уходят и ноль внимания!..

Мы вышли во внутренний дворик, слабо освещенный вялым осенним солнцем, успевшим, однако, подсушить с утра лужи на асфальте, прошли мимо собачника, из которого доносились визг, лай, глухое басовитое рычание – собак, видно, кормили, потому что в другое время они ведут себя тише. Подошли к кирпичному подслеповатому – из-за того что окна наполовину были прикрыты жестяными «намордниками» – зданию КПЗ.

– И чего же ты радуешься? – спросил я Колю.

– Как чего? – удивился он. – Тарасова-то думала, что он запрыгает от счастья, а они – на тебе – в буфэ-эт...

Лязгнула железными запорами тяжелая дверь, надзиратель проверил документы, пропустил внутрь. В караулке он отобрал пистолеты, положил их в сейф и провел нас на второй этаж, открыл одну из камер:

– Груздев! На выход!

Я впервые видел камеру изнутри и с любопытством оглядывал ее. Небольшая, довольно чистая комната с зарешеченным окном и двумя нарами – деревянными крашеными полами. На одной из них лежал Груздев, повернувшись к нам спиной. Еще по дороге сюда я размышлял о том, с каким напряженным ожиданием вслушивается, должно быть, Груздев в каждый звук, в каждый шорох из коридора – не за ним ли идут, нет ли новостей с воли?..

На окрик надзирателя Груздев отозвался не сразу, зашевелился, медленно поднял голову и только потом повернулся к нам. И тут я понял, что он спал. Спал! Даже мне после вчерашнего далеко не сразу удалось уснуть, а уж насчет него-то и сомнений никаких не было: где ж ему хоть глаза сомкнуть? И вот тебе – спит как сурок, будто ничего не случилось. Ну и нервы! От такого действительно всего можно ожидать...

– Собирайтесь, Груздев, на допрос, – повторил надзиратель, замкнул дверь камеры и проводил нас в следственный кабинет – узкую тесную каморку с подслеповатым оконцем, маленьким колченогим столиком и привинченными к полу стульями – это чтобы их нельзя было использовать как оружие, догадался я.

Вошел Груздев, неприветливо мазнул сонным взглядом по моему лицу, даже не кивнул. А на Тараскина он вообще внимания не обратил. Но я решил волю чувствам не давать: что ни говори, он сейчас все одно что военнопленный, считай лежачий, так что надо быть повежливей. Я и сказал ему

культурно:

– Здравствуйте, Илья Сергеевич. Как вы себя чувствуете?

Он усмехнулся недобро, да я и сам понял, что глупость сморозил – какое уж тут самочувствие! А он сказал, скривив рот:

– Вашими молитвами. Ну-с, что скажете?

– Да вот спросить вас хотели: может, облегчите душу-то?

Пора бы, вам же лучше станет...

Он посмотрел на меня – глазки маленькие, со сна припухшие, а тут совсем в щелочки превратились.

– Тоже мне, исповедник с наганом... – И скрипуче засмеялся.

Но не стал я на него обижаться, я ему просто разъяснил статью сорок восьмую – о чистосердечном раскаянии и так далее, – а он все слушал, не перебивал, пока я не закончил. Потом сказал и ладонью по столу постучал, будто припечатал:

– Вы, молодой человек, уясните себе наконец, что не на такого напали – каяться, в чем не виноват, во имя ваших милостей. Правда – она себя покажет. И лучше всего будет, если вы от меня отвяжетесь и будете искать настоящего убийцу, а не того, кто к вам поближе оказался, для следствия поудобней, ясно? – Он подумал немного, потер ладонью лоб, будто соображал, не забыл ли чего. Видно, сообразил, потому что заулыбался даже, и говорит: – Я придумал, как самому себе помочь. Официально вам заявляю, что больше да-

вать вам никаких показаний не буду, сюда напрасно не ходите. Может быть, хотя бы это побудит вас оглядеться окрест себя повнимательней. Все!..

И сколько я ему ни объяснял после этого, что он себе же делает хуже, что на суде не обрадуются такому его неправильному поведению и так далее и тому подобное, он даже бровью не повел, отвернулся от нас к окну, будто его не касается, и больше ни слова не произнес, как глухонемой.

Я бы еще, может, поразорялся, но Тараскину надоело, он зевнул пару раз и сказал:

– Ну ладно, Володь, чего там. Не хочет человек говорить – не надо. Пожалеет потом, да поздно будет. Как Дружников вон – не сказал матери сразу, что к чему, а потом какая некрасивая история получилась! Пошли...

И мы вернулись в Управление. Я пересказал Жеглову наш с Груздевым разговор, если, конечно, это можно назвать разговором. Думал, он ругаться будет, но Жеглов ругаться не стал, а наоборот, ухмыльнулся криво этак – он один, по-моему, только так и умеет – и сказал:

– Вольному воля, не в обиду Груздеву будь сказано. По нашим законам обвиняемый имеет право на защиту. Хочет молчать – его право, это ведь тоже способ защиты. – Наверное, на моем лице выразилось удивление, потому что Глеб пояснил: – Ты не удивляйся, орел, у нас ведь не только рукопажная. Приходится частенько, как бы это сказать, умом, понимаешь, хитростью схватываться. И когда обвиняемый

молчит, он как бы приглашает: валяйте вы свои карты на стол, а я свои приберегу, имею право не в очередь ходить, понял? Я ваши карты погляжу, а потом свои козыри обмозгую. Так что пусть молчит...

– А как же мы будем? – спросил я.

– А очень просто. У нас свое дело – будем с уликами работать. Панков сейчас приедет – даст указания. А Груздев пусть сидит себе, думает. Денечков пять его совсем трогать не надо – пусть поварится в собственном соку. Он всю свою жизнь за это время переберет, все свои прегрешения вспомнит! Да еще прикинет, в чем мог ошибиться, промашку дать, что мы еще вынюхали, что ему на стол выложим завтра. Это он сейчас от нервного шока спал, а вскорости спать перестанет, это уж будь спок...

Приехал Панков, Жеглов отрядил меня в его распоряжение, а сам умчался куда-то с Тараскиным.

Панков поставил в угол свои шикарные галоши, на гвоздь повесил зонтик и посмотрел на меня поверх стекол очков, и снова вид у него был такой, будто он прикидывает, боднуть меня посильнее или можно повременить.

Видимо, решил не бодать меня пока, потому что пожевал усердно верхнюю губу и коротко распорядился:

– Дайте мне протокол осмотра...

Я принес ему дело, раскрыл на первой странице, а Панков снял с переносицы и принялся тщательно протирать очки. Делал он это очень неспешно, чистеньким ветхим носовым

платком, и я снова подумал, что очки у него какие-то совсем старинные, таких теперь и не носит никто: круглые, без оправы, с желтенькой пружинкой и шнурком. Нацепил он окуляры, рассеянно махнул мне рукой – рядом, мол, садись – и принялся читать протокол, делая маленьким золоченым карандашиком какие-то непонятные отметочки на полях. До-читав, сказал:

– Классическое корыстное убийство. Обратите внимание, молодой человек: при эмоциональных преступлениях, то есть под воздействием сильных страстей, виновные откровенны. Напротив, при корыстных мотивах они зачастую отрицают вину до последней возможности. Вчера я уже говорил об этом нашему другу Глебу Георгиевичу, но он был несколько... э... самонадеян. Отсюда следует, что, не дожидаясь признания обвиняемого, мы должны доказать его вину при помощи улик, прямых, а также косвенных. Вы ведь только начинаете? – Он снял очки, и на переносице от пружинки остался глубокий красный след. Я кивнул, а он, не глядя на меня, продолжил: – Это дело мне кажется достаточно хрестоматийным для того, чтобы вы могли получить первое глубокое впечатление об основных признаках работы, которой собираетесь посвятить себя...

– Сергей Ипатьич, а почему вы считаете это дело хрестоматийным?

– Да потому, что преступление совершено человеком неопытным и он оставил нам улики, достаточные для трех

убийств. Нам остается только исследовать их, закрепить и законным порядком привязать, так сказать, к данному делу. И тогда можно его направлять в суд, даже если обвиняемый и не соизволит сознаться: улики обвинят его сами!

– А если улики не подтвердятся? – спросил я.

– Как это «не подтвердятся»? – удивился Панков. – Должны подтвердиться!.. Впрочем... э... не будем загадывать, мы же не на семинаре.

Но я человек дотошный и, несмотря на то что Жеглов уже не раз ругал меня за въедливость, все-таки переспросил:

– Хорошо, как все сойдется, а если нет? А Груздев не колетса...

Панков покашлял, пожал узкими плечиками, словно я бог весть какой глупый вопрос задал:

– Гм... Гм... Ну-у... если не сойдется... и обвиняемый отрицает вину... Суд тогда оправдает его.

– А как же убийство? – допытывался я. – Кто отвечать-то будет?

– Видите ли, молодой человек, наука считает, что не существует нераскрываемых преступлений... Так сказать, теоретически. Так что нам с вами надо поднатужиться...

– Так давайте поднатужимся, – сказал я, потому что и мне эта волынка уже начала надоедать. – Какие будут указания?

Панков, словно обрадовавшись, что я отстал от него со своими дурацкими вопросами, удовлетворенно покивал головой и сказал:

– Берите бумагу, ручку, пишите...

Ручки я не нашел, но в планшете у меня – я его с войны привез – был командирский карандаш, взял я его на изготовку, а Панков начал диктовать:

– Баллистическая экспертиза. Вопросы. Являются ли пуля и гильза, обнаруженные на месте происшествия, частями одного патрона? Можно ли выстрелить этим патроном из пистолета «байард», обнаруженного в Лосиноостровской? Выстрелена ли пуля из того же пистолета? Выброшена ли гильза из того же пистолета? Пригоден ли к стрельбе тот же пистолет? Следственным и оперативным путем искать ответ на вопрос, почему преступник при наличии фирменных патронов «байард» воспользовался патроном другой марки...

Я торопливо записывал, боясь упустить хоть одно слово, хотя мне и непонятно было, кому нужны эти тонкости, и без того очевидные. Но Панкову, думаю, лучше известно, что надо делать.

– Медицинская экспертиза, – диктовал он. – Вопросы. Возможно более точное установление времени смерти... Стоматологически – изготовить слепок следа укуса на шоколаде для последующего сравнения с контрольными образцами... Получить таковой у обвиняемого Груздева... Далее. Исследовать групповую принадлежность слюны на окурках папирос «Дели»... Дактилоскопическая экспертиза. Проявить все обнаруженные отпечатки пальцев, сравнить с отпечатками потерпевшей, ее мужа, сестры на предмет иденти-

фикации... Комплексная химическая и органолептическая экспертиза. Выявить тождественность жидкости в бутылке с этикеткой «Азербайджанское вино. Кюрдамир» этому вину, установить наличие либо отсутствие каких-либо примесей в исследуемой жидкости, в положительном случае исследовать примеси...

Я так много и так быстро писать не привык – пальцы замлели, и я потряс ими. Панков пообещал:

– Скоро закончим. Пишите: графическая экспертиза. Установить, кем исполнена – не Груздевым ли? – записка угрожающего содержания. Для чего изъять образцы произвольного письма Груздева, контрольный текст свободного письма и текст, исполненный обвиняемым под диктовку... Дальше: следственным путем проверить содержание всех письменных документов, изъятых с места происшествия. Допросить сослуживцев потерпевшей и обвиняемого, его сожительницу. Оперативным и следственным путем – активные и неотложные меры розыска имущества потерпевшей, похищенного из ее дома... Все. – И Панков с облегчением, хотя и не без самодовольства, посмотрел на меня.

– Более или менее понятно, – сказал я. – Это мы будем исполнять?

– Со мной в контакте. Для начала я вынесу постановление об экспертизах, а вы свяжетесь с экспертами.

Оставив для нас целый список неотложных «оперативных и следственных мероприятий», Панков положил в футлярчик очки, надел свои резиновые броненосцы, взял зонтик, отбыл; и почти сразу же пришел Жеглов, чем-то весьма довольный. Но расспрашивать его я не стал: захочет – сам расскажет, а показал ему панковский списочек.

– Солидно, – хмыкнул Жеглов. – Но все правильно. Черт старый, следственные дела мог бы и себе оставить, нам оперативных выше головы хватает. Да ладно уж, у них дел по тридцать на одного следователя в производстве. Если мы станем дожидаться, пока он сам сделает... Э-эх, ладно. Пошли питаться?

Питаться – это хорошо! Я питаться в любой момент был готов, прямо ненормально есть все время хотелось, как троглодиту какому-то. Я уж и курить побольше старался, – говорят, аппетит отбивает, но у кого, может, и отбивает, да только не у меня. Американцы, когда мы с ними на Эльбе встретились, все время резинку жевали. Не от голода, конечно, мы все там сытые были, куда уж, а от баловства; привычка у них такая. Эх, сейчас бы иметь запас такой резинки, я бы ее все время жевал, все ж не так голодно. Да чего там, где она, та резинка, да и харчи наши фронтовые вспоминать не хочется...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.